



rocketbook

Эмиль Золя

Человек-зверь



Pocket book (Эксмо)

Эмиль Золя  
**Человек-зверь**

«Эксмо»

1890

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

**Золя Э.**

Человек-зверь / Э. Золя — «Эксмо», 1890 — (Pocket book  
(Эксмо))

ISBN 978-5-04-195607-3

Эмиль Золя — основоположник натурализма в литературе, автор двадцатитомной эпопеи «Ругон-Маккары» — «естественной и социальной истории одной семьи в эпоху Второй империи». Желу начальника почтовой станции Северину Рубо терзают воспоминания о хитроумном преступлении, в котором она поневоле стала соучастницей своего нелюбимого мужа. Полиция так и не нашла виновных, но отныне семейная жизнь становится для молодой женщины совершенно невыносимой. Именно тогда ее внимание привлекает машинист локомотива Жак Лантье. Он хорош собой, не лишен обаяния, выгодно отличается от товарищей по высокооплачиваемой профессии чистым и аскетическим, почти монашеским образом жизни. Он кажется прямой противоположностью мелочному, жестокому и подлому Рубо. Однако, пытаясь соблазнить Жака, Северина и не подозревает, что играет со смертью. Ведь Лантье — маньяк, из последних сил пытающийся сдерживать всепоглощающую жажду убивать красивых женщин...

УДК 821.133.1-31  
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-04-195607-3

© Золя Э., 1890  
© Эксмо, 1890

## Содержание

I	6
II	23
III	40
IV	54
Конец ознакомительного фрагмента.	56

# Эмиль Золя Человек-зверь

Émile Zola  
La bête humaine

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

\* \* \*

## I

Войдя в комнату, Рубо положил на стол фунтовый хлебец, пирог и поставил бутылку белого вина. Тетушка Виктория перед уходом на службу закрыла трубу раньше, чем следовало; печь страшно накалилась, и в комнате была невыносимая жара. Помощник начальника станции открыл окно и облокотился на подоконник.

Он смотрел из окна высокого дома, последнего с правой стороны Амстердамского тупика. В этом доме общество Западной железной дороги отвело квартиры для некоторых своих служащих. Комната тетушки Виктории помещалась на пятом этаже, и окно, прорубленное в чердачной крыше, выходило прямо на железнодорожную станцию, которая врезалась в Европейский квартал; в открывшемся громадном пролете неожиданно для глаза развевалась широкая даль. В этот день горизонт, сливаясь с тусклым набухшим небом, освещенным неярким февральским солнцем, казался еще шире.

Напротив в солнечных лучах, просвечивавших сквозь сероватую дымку, неясно обозначались вдали легкие очертания домов Римской улицы. Слева видны были навесы крытых складов, их громадные арки с закопченными стеклами. Далее шли колоссальные постройки главной железнодорожной станции, которая была отделена сторожкой и грелочной от других, меньших станций: Аржантейльской, Версальской и станции Окружной дороги. Справа железная звезда Европейского моста закрывала пролет, который затем открывался снова и уходил вдале до самого Батиньольского туннеля. Внизу, прямо под окном, на обширной территории станции, разбегались веером три двойных рельсовых пути, словно выходявшие прямо из моста. Каждый путь разветвлялся на станции в целую сложную сеть, бесчисленные колеи исчезали под навесами. Перед станционными постройками стояли три будки стрелочников, у каждой – маленький обнаженный садик. В хаосе вагонов и локомотивов, загромождавших рельсы, большой красный стрелочный диск ярким пятном вырисовывался в бледном свете дня.

Рубо загляделся на эту картину, мысленно сравнивая громадную парижскую станцию со станцией в Гавре. Каждый раз, когда он приезжал на день в Париж и останавливался у тетушки Виктории, в нем просыпался интерес к его ремеслу.

На главном дебаркадере началась суеда: прибыл мантский поезд. Рубо следил за дежурным паровозом, маленьким локомотивом с тендером на шести низких, соединенных друг с другом колесах, приступившим уже к разборке поезда. Паровоз работал проворно и усердно, увозя и отодвигая вагоны на запасные пути. Другой, могучий курьерский паровоз, на четырех громадных быстроходных колесах, одиноко стоял, выбрасывая из трубы густой черный дым, медленно и прямо поднимавшийся вверх в спокойном воздухе. Но с особым вниманием следил Рубо за поездом, который должен был отойти в 3 часа 25 минут в Кэн. Пассажиры уже сидели в вагонах и ожидали только прицепки паровоза. Рубо не видел паровоза, стоявшего за мостом, но слышал, как паровоз давал короткие, частые свистки, требуя, чтобы ему очистили путь, точно начинал терять терпение. Был отдан приказ, отрывистым свистком паровоз ответил, что понял приказание. Перед тем, как он тронулся, наступила тишина, потом открыли отводные краны, и струи пара с оглушительным свистом вырвались почти на уровне рельсов. Рубо увидел, как от моста катилось белое облако пара, которое, словно снежный пух, подхваченный вихрем, клубами извивалось среди железных поясов моста, а сгущавшийся дым другого паровоза раскидывался в это время черной завесой. Вдали глухо раздавались сигнальные свистки, различные распоряжения, слышалось скрипение поворотных кругов. Вдруг завеса из клубов дыма и пара разорвалась, промелькнули один мимо другого два поезда – версальский и отейльский. Один шел в Париж, другой только что вышел оттуда.

Рубо хотел уже отойти от окна, но, услышав голос, назвавший его по имени, перегнулся через подоконник и увидел стоявшего на балконе, этажом ниже, молодого человека лет трид-

цати. Это был обер-кондуктор Анри Довернь, живший там вместе со своим отцом, помощником начальника главной станции, и двумя сестрами, Клер и Софи. Молодые девушки, очаровательные блондинки, восемнадцати и двадцати лет, вели хозяйство на деньги – шесть тысяч франков, – которые зарабатывали их отец и брат. Веселье в их доме никогда не прекращалось; и сейчас из открытого окна раздавался смех старшей сестры, младшая пела, а несколько канареек в большой клетке соперничали с нею в руладах.

– А, господин Рубо, так вы в Париже! Вас, наверное, вызвали сюда по поводу истории с супрефектом?..

Снова облокотившись на подоконник, помощник начальника станции рассказал, что ему пришлось выехать из Гавра с утренним курьерским поездом. Начальник службы эксплуатации вызвал его в Париж и сделал ему строжайший выговор. Счастье еще, что дело ограничилось только выговором, а то, чего доброго, могли бы, пожалуй, совсем прогнать со службы.

– А ваша супруга тоже здесь? – осведомился Анри.

– Да, она приехала за покупками.

Рубо ждал ее в комнате тетушки Виктории, которая давала ему ключ каждый раз, когда он с женою приезжал в Париж. Они любили завтракать там вдвоем, пока тетушка Виктория была на службе. На этот раз супруги Рубо слегка закусили в Манте, чтобы по приезде в Париж сразу заняться делами; но пробило уже три часа, и Рубо чуть не умирал с голоду.

Анри из любезности задал ему еще один вопрос:

– Вы и переночуете тут?

Нет, ему с женой необходимо вернуться в Гавр с вечерним курьерским поездом. Тут не разгуляешься! Вызывают только для того, чтобы закатить выговор, а потом марш немедленно назад!

Обер-кондуктор и помощник начальника станции переглянулись и покачали головой; расслышать друг друга они уже не могли: громкие, бурные аккорды фортепьяно заглушили их голоса. Обе сестры, по-видимому, одновременно колотили по клавишам, стараясь подзадорить канареек, и громко хохотали при этом. Их веселье передалось Анри; он с улыбкой кивнул Рубо и отошел в глубь комнаты. Рубо постоял еще с минуту, глядя на балкон, откуда доносились взрывы молодого заразительного смеха. Взглянув затем прямо перед собою, он увидел, что паровоз закрыл уже свои пароотводные краны; стрелочник направил его к кэнскому поезду. Последние хлопья белого пара расплывались в густом черном дыму, которым заволочло все небо. Затем Рубо отошел от окна.

Часы с кукушкой показывали уже двадцать минут четвертого, Рубо пришел в отчаяние. Что за черт, чего ради Северина так запаздывает? Стоит ей попасть в какой-нибудь магазин – она уж не может оттуда вырваться. Чтобы заглушить грызущее чувство голода, Рубо решил накрыть на стол. Большая, в два окна, комната тетушки Виктории служила одновременно спальней, столовой и кухней; комнату украшала ореховая мебель: кровать с драпировками из красного кумача, буфет с выдвигной доскою, круглый стол и большой нормандский шкаф. Рубо вынул из буфета салфетки, несколько тарелок, ножи и вилки, два стакана. Все сверкало чистотой, и Рубо, накрывая на стол, забавлялся своими хлопотами по хозяйству, точно играл в кукольный обед. Его радовала белизна салфеток; он был влюблен в свою жену и улыбался при мысли о том, как, открыв дверь, она расхохочется своим свежим смехом. Рубо положил пирог на тарелку, поставил рядом бутылку с вином и с беспокойством стал отыскивать что-то глазами; потом быстро вытащил из кармана два забытых свертка – коробочку с сардинками и швейцарский сыр.

Пробило половина четвертого. Рубо шагал взад и вперед по комнате, прислушиваясь к малейшему шуму на лестнице. Чтобы как-нибудь убить время, он остановился перед зеркалом и начал разглядывать себя. Он положительно не стареет. Ему скоро стукнет сорок, а его ярко-рыжие выющиеся волосы нисколько не поседели. В густой, окладистой золотистой бороде



тоже еще не было седины. Среднего роста, но крепкого сложения, с низким лбом и широким затылком, круглолицый, краснощекий, с большими живыми глазами, он нравился сам себе. Его сросшиеся брови сходились над переносицей в одну сплошную линию, что считается признаком ревности. Жена Рубо была на целых пятнадцать лет моложе его, а потому не мудрено, что он зачастую поглядывал в зеркало.

Заслышав шаги, Рубо побежал к двери и приотворил ее. Но это была продавщица газет на вокзале, жившая в том же коридоре, в смежной комнате. Разочарованный, Рубо захлопнул дверь и принялся рассматривать стоящую на буфете коробку, оклеенную раковинами, подарок Северины ее кормилице, тетушке Виктории. Он много раз видел эту коробку, и теперь, стоило ему только взглянуть на нее, как в его памяти ожила вся история его женитьбы, хотя с тех пор прошло уже целых три года. Он родился в Южной Франции, в Плассане, где отец его был ломовым извозчиком; служил в армии и вышел в отставку фельдфебелем; долго работал железнодорожным мастером на мантском вокзале, а затем был назначен старшим мастером на Барантенскую станцию. Там он и познакомился с нею, со своею дорогой женой, когда она вместе с дочерью председателя окружного суда, Бертою Гранморен, приезжала из Дуанвиля. Северина Обри была младшей дочерью простого садовника, умершего на службе у Гранморенов, но ее крестный отец и опекун Гранморен чрезвычайно ее баловал и сделал подружкой своей дочери. Обе они воспитывались в руанском пансионе. В Северине Обри было столько врожденного изящества, что Рубо долгое время позволял себе только мечтать о ней, испытывая то страстное чувство, с каким обтесавшийся рабочий любит прекрасную, но недоступную ему драгоценную вещь. Это была единственная любовь в его жизни. Он женился бы на этой девушке даже и в том случае, если бы за ней не было ни гроша, лишь бы только она была всегда с ним. Когда же он осмелился сделать ей предложение, действительность превзошла самые смелые его мечты. Северина приняла его предложение; Рубо получил в приданое десять тысяч франков, и, кроме того, Гранморен, который, выйдя в отставку, стал членом правления Западной железной дороги, обещал ему свое покровительство. И действительно, на следующий же день после свадьбы Рубо был назначен помощником начальника станции в Гавре. Правда, он и до того был на хорошем счету у начальства. Его признавали исполнительным, точным, добросовестным служакой, хотя и ограниченным, но хорошо знающим свое дело. Эти присущие ему качества могли до известной степени объяснить столь быстрое исполнение его желания и внезапное повышение по службе, но Рубо предпочитал думать, что всем обязан жене. Он обожал ее.

Рубо подошел к столу, открыл коробку сардинок. Он окончательно терял терпение: жена условилась с ним вернуться в три часа. Куда же она запропастилась? Нельзя же потратить целый день на покупку пары ботинок и полдюжины сорочек. Кто этому поверит! Взглянув снова в зеркало, Рубо увидел свои густые, нахмуренные брови и лоб, перерезанный суровой морщиной. В Гавре он никогда ни в чем не подозревал жену. Но в Париже у него возникали всевозможные опасения; ему казалось, что она хитрит и обманывает его. От этих мыслей кровь бросалась ему в голову, а мощные кулаки бывшего рабочего сжимались, как в былое время, когда он еще сам передвигал вагоны. Как всегда в такие минуты, он превращался в животное, не сознающее своей силы, и мог бы в припадке слепой ярости избить жену до смерти.

Дверь распахнулась; Северина, радостная, оживленная, вошла в комнату.

— Вот и я, — сказала она. — А ты, наверно, уже вообразил, что я совсем пропала!

Северина была в полном расцвете молодости; она казалась высокой, стройной и очень гибкой, хотя на самом деле была не худенькая, но лишь тонкокостная. На первый взгляд ее нельзя было назвать красивой: лицо у нее было продолговатое, рот большой, но зубы ослепительные. Однако в ней была свое-образная чарующая прелесть, необычайное сочетание больших голубых глаз и великолепных черных, как смоль, волос.



Муж молча всматривался в нее хорошо знакомым ей подозрительным взглядом, и Северина добавила:

– Я так торопилась... Представь себе, в омнибус сесть совершенно невозможно, а на извозчика я пожалела денег и всю дорогу шла пешком. Видишь, как мне жарко.

– Ну, – грубо возразил Рубо, – ты думаешь, я поверю, что ты была только в магазине?

С детской лаской Северина бросилась мужу на шею и, закрывая ему хорошенькой, мягкой ручкой рот, воскликнула:

– Молчи, гадкий!.. Ты прекрасно знаешь, что я тебя люблю.

Все существо ее дышало такой искренностью, она казалась ему такой правдивой, чисто-сердечной, что он страстно сжал ее в объятиях. Подозрения его всегда рассеивались именно таким образом. Северина охотно позволяла себя ласкать. Рубо осыпал ее поцелуями, но она не возвращала их, и пассивность этого большого ребенка вызывала в нем смутную тревогу: Северина относилась к нему как бы с дочерней привязанностью, но страсть в ней не просыпалась.

– Так ты обобрала все магазины?

– Да, я расскажу тебе все по порядку... Но прежде позавтракаем. Я страшно голодна... Кстати, у меня есть для тебя подарок. Только попроси хорошенько...

С веселым смехом она засунула правую руку в карман.

– Ну, говори скорей: «Где мой подарочек?..»

Он тоже добродушно засмеялся и повторил за ней:

– Где мой подарочек?..

Недели две тому назад Рубо потерял нож и до сих пор жалел о нем. Теперь Северина подарила ему взамен другой. Рубо восхищался подарком, находил великолепным свой новый нож с рукояткой из слоновой кости и блестящим лезвием. Ему хотелось сейчас же употребить его в дело. Северина в восторге от радости мужа, шутя, потребовала су для того, чтобы их дружба не была перерезана этим самым ножом.

– Ну, теперь давай завтракать, – повторила она. – Нет, пожалуйста, не закрывай окно: мне очень жарко!

Прислонившись к плечу мужа, она вместе с ним смотрела на обширную территорию железнодорожной станции. Дым на мгновение рассеялся, медный диск солнца опускался в тумане где-то позади домов Римской улицы. Внизу маневрирующий паровоз подвозил уже совершенно составленный мантский поезд, который должен был отправиться в двадцать пять минут пятого. Поезд был подвинут к дебаркадеру под навес, а затем локомотив отцепили. Вдали, в депо Окружной дороги, слышался стук буферов, – очевидно, неожиданно понадобилось прицепить еще несколько вагонов. Тяжелый локомотив товарно-пассажирского поезда неподвижно стоял среди рельсовых путей; его машинист и кочегар почернели от копоти. Он точно устал и, задыхаясь, выпускал через клапан тоненькую струйку пара. Локомотив ждал, чтобы ему освободили путь и дали возможность вернуться в батиньольское депо. Красный сигнал щелкнул и исчез. Паровоз ушел.

– Какие веселые эти барышни Довернь! Слышишь, как бренчат на фортепьяно... Я только что видел Анри. Он тебе кланяется.

– За стол, за стол! – кричала Северина.

Она с жадностью набросилась на сардинки и мигом их уничтожила. Северина была необычайно оживлена: поездка в Париж каждый раз как будто опьяняла ее. Она вся трепетала от радости, что ей удалось погулять по столичным улицам, и ее лихорадочное возбуждение от беготни по дешевым магазинам еще не улеглось. Каждую весну она тратила разом все свои зимние сбережения, предпочитая купить в Париже все, что ей могло понадобиться. Она уверяла, будто дешевизна этих покупок возмещает ей путевые расходы. Ранний завтрак в Манте был давно уже позабыт, и Северина ела с удовольствием, болтая при этом без умолку. Наконец,

слегка смущаясь и краснея, она подвела итог своим расходам. Оказалось, что она издержала более трехсот франко-в.

– Черт возьми! – воскликнул пораженный Рубо. – Ты транжиришь не по средствам! Ведь ты собиралась купить только полдюжины рубашек и пару ботинок...

– Ах, мой друг, ведь это редкий случай! Ты и вообразить себе не можешь, как удачно... Я нашла премиленький шелк в полоску! Готовые юбки с вышитыми оборками! А шляпка – просто мечта! И все это мне уступили чуть не даром. В Гавре пришлось бы переплатить вдвое. Когда пришлют все мои покупки, ты сам увидишь, что это за прелесть!

Он считал за лучшее рассмеяться; его жена была так очаровательна в своем оживлении, к которому примешивались смущение и робость. А импровизированный обед вдвоем в этой комнате, где им никто не мог помешать, был так заманчив, – здесь было гораздо уютнее, чем в ресторане. Северина, обычно пившая только воду, на этот раз, сама того не замечая, пила белое вино. Сардинки были съедены, и Рубо с женой принялись за пирог. Они разрезали его великолепным новым ножом; он был очень острый и резал так хорошо, что лучше и требовать было нельзя.

– Ну, а твое дело уладилось? – осведомилась Северина у мужа. – Ты заставляешь меня болтать о разных пустяках, а сам не рассказываешь, чем кончилась история с супрефектом...

Тогда Рубо подробно рассказал ей, как его принял начальник службы эксплуатации. Начальник задал ему хорошую головомойку. Рубо оправдывался, рассказал, как было дело, объяснил, что этот безмозглый щеголь супрефект хотел во что бы то ни стало ехать со своей собакой в первом классе, хотя для охотников с собаками имелся специальный вагон второго класса. Из-за этого и завязался спор. Начальник нашел, что Рубо был вправе настаивать на выполнении железнодорожных распоряжений, но строго порицал помощника начальника станции за сказанную им фразу: «Не век вам здесь хозяйничать». Подозревали, что Рубо придерживается республиканских воззрений. Прения при открытии парламентской сессии 1869 года и опасения за результаты предстоящих общих парламентских выборов сделали правительство до чрезвычайности подозрительным; Рубо непременно сместили бы с должности, если бы за него не поручился председатель окружного суда Гранморен. Пришлось, однако, письменно извиниться перед супрефектом, письмо составил сам Гранморен.

Северина прервала мужа восклицанием:

– Видишь, как хорошо, что я догадалась написать Гранморену и зайти к нему с тобою сегодня утром, до этой головомойки... Я знала, что он выручит нас.

– Да, он тебя очень любит, – продолжал Рубо, – а в правлении дороги он пользуется большим влиянием... Но только, посуди сама, стоит ли стараться! Обо мне отзывались самым лестным образом. Считается, что я хоть и не очень энергичен, но зато прекрасно веду себя, исполнительен, усерден. А все-таки, не будь ты моей женой и не вступи ради тебя Гранморен, я слетел бы с места, и меня отправили бы замаливать грехи на какую-нибудь станцию последнего разряда...

Она задумчиво глядела в пространство и вполголоса подтвердила, точно говоря сама с собой:

– Да, он действительно пользуется большим влиянием...

Наступило минутное молчание. Забыв про еду, Северина пристально смотрела вдаль широко раскрытыми глазами. Она, без сомнения, вспоминала свое детство, прошедшее в дуанвильском замке, в четырех милях от Руана. Матери своей она никогда не знала, отец, садовник Обри, умер, когда ей пошел тринадцатый год. Председатель окружного суда Гранморен был в то время уже вдовцом. Он оставил ее в своем доме, и она воспитывалась там вместе с его дочерью Бертой под наблюдением его сестры, г-жи Боннегон, вдовы фабриканта, к которой перешел теперь замок. Берта была двумя годами старше Северины, но вышла замуж полугодом позже за члена руанского суда г-на де Лашене, маленького, худощавого и желтолицего чело-

века. В прошлом году Гранморен состоял председателем этого суда, но затем вышел в отставку. Он сделал блестящую карьеру. Гранморен родился в 1804 году и после революции 1830 года назначен был кандидатом на судебную должность – сперва в Динье, затем в Фонтенебло и в Париже. После того он служил товарищем прокурора в Труа, прокурором в Рене и наконец председателем окружного суда в Руане, У него было состояние в несколько миллионов франков, и с 1855 года он состоял членом департаментского совета. В день выхода в отставку он был назначен командором ордена Почетного легиона. В самых ранних своих воспоминаниях Северина видела его совершенно таким же, какой он был и теперь: приземистый, крепкий, рано поседевший старик с коротко остриженными, когда-то светло-русыми волосами, еще сохранившими золотистый блеск; он носил бороду, усы брил, лицо у него было широкое, толстый нос и жесткие голубые глаза придавали ему строгое выражение. Старик был резок в обращении, все трепетали перед ним.

– Скажи на милость, о чем ты задумалась? – повысив голос, дважды повторил Рубо.

Северина вздрогнула и встрепенулась, словно застигнутая врасплох.

– Так, ни о чем...

– Что же ты не ешь, ты уже сыта?..

– Ну, что ты... Ничего подобного, ты сам сейчас убедишься. – Допив вино, Северина мигом покончила со своим пирогом. Но тут произошел переполох: оказалось, что фунтовый хлебец, припасенный к завтраку, съеден до последнего кусочка и к сыру ничего не осталось. С веселыми возгласами и смехом они перерыли буфет тетюшки Виктории и наконец отыскивали кусок черствого хлеба. Несмотря на открытое окно, в комнате не делалось прохладнее, и молодой женщине, сидевшей у самой печки, было по-прежнему очень жарко. Казалось, веселый завтрак вдвоем с мужем привел ее в еще более возбужденное состояние. Рубо снова заговорил о Гранморене, по поводу тетки Виктории. Ей тоже следовало поставить за него пудовую свечу! Виктория родила в девушках ребенка, который вскоре умер. Тогда она поступила кормилицей к Северине, мать которой скончалась от родов. Впоследствии Виктория вышла замуж за кочегара, служившего в обществе Западной железной дороги. Она еле-еле перебивалась в Париже шитьем, так как муж ее пропивал все свое жалованье. Благодаря встрече с молочной дочерью ее прежняя связь с Севериной возобновилась, и Виктория также стала пользоваться покровительством Гранморена. Он добился для нее места сторожихи при дамских уборных «люкс». Самые роскошные уборные! Железнодорожное общество платило ей всего сто франков в год, но она выручала больше тысячи четырехсот франков с посетительниц. Кроме того, железнодорожное общество предоставило ей квартиру – комнату с отоплением. Поэтому служба у нее была очень выгодная. Рубо высчитал, что если бы муж ее, кочегар Пекэ, аккуратно приносил домой жалованье и награды – две тысячи восемьсот франков, – а не прокучивал бы эти деньги на линии, то у него с женой имелось бы ежегодно более четырех тысяч франков, то есть ровно вдвое больше содержания, получаемого в Гавре помощником начальника станции.

– Разумеется, не каждая женщина согласится быть сторожихой при уборной, – заметил Рубо. – Впрочем, всякая работа хороша, если она порядочно оплачивается.

Насытившись, Рубо и Северина медленно доедали сыр, нарезая его маленькими ломтиками, чтобы продлить удовольствие. Беседа их становилась более вялой.

– Кстати, я забыл тебя спросить, – воскликнул Рубо, – почему ты отказалась от предложения Гранморена погостить два-три дня в Дуанвиле?

Охваченный приятным чувством сытости, Рубо вдруг вспомнил об утреннем визите в особняк Гранморенов на улице Роше. Он снова увидел строгий кабинет и, казалось, еще слышал голос Гранморена, говорившего, что уезжает на следующий день в Дуанвиль. Потом, словно у Гранморена мелькнула внезапная мысль, он предложил супругам Рубо отправиться вместе с ним шестичасовым курьерским поездом и пригласил Северину поехать с ним в замок,

так как его сестра давно уже выражала желание с ней повидаться. Но Северина под разными предложениями отказывалась от этого посещения.

– Я, видишь ли, – продолжал Рубо, – не нахожу ничего дурного в том, чтобы ты погостила несколько дней в дуанвильском замке. Ты могла бы остаться там до четверга, я как-нибудь обошелся бы без тебя... Я полагаю, что в нашем положении мы нуждаемся в Гранморенах. Глупо отвечать отказом на такое любезное приглашение, тем более, что твой отказ, очевидно, огорчил его. Поэтому-то я и уговаривал тебя согласиться, пока ты не дернула меня за полу. Тогда я поддержал тебя, но сам ничего не понял... В самом деле, почему ты не захотела поехать в Дуанвиль?

Глаза Северины забегали. Она нетерпеливо пожала плечами и возразила:

– Как же я оставлю тебя одного?

– Ну, это пустяки. За три года, что мы женаты, ты два раза ездила в Дуанвиль и гостила там по неделе. Почему же ты не могла поехать и в третий раз!

Молодая женщина отвернулась, чтобы скрыть все возраставшее смущение.

– Да просто мне не хочется. Не станешь же ты заставлять меня делать то, что мне не нравится.

Рубо развел руками, как бы протестуя против обвинения в том, что хотел к чему-нибудь принудить жену, но все-таки добавил:

– Ты положительно что-то от меня скрываешь. Быть может, в последнее твоё посещение госпожа Боннегон обошлась с тобой неласково?..

Нет, г-жа Боннегон всегда к ней очень добра. Она такая милая женщина; высокая, полная, с великолепными светлорусыми волосами, она и сейчас еще красива, хотя ей уже пятьдесят пять лет. Рассказывали, что с тех пор, как она овдовела, да, впрочем, и при жизни мужа сердце ее бывало частенько занято. В Дуанвиле ее обожали. Она превратила замок в настоящий райский уголок, туда съезжалось все руанское общество. Особенно много друзей было у г-жи Боннегон среди членов руанского судебного ведомства.

– Ну, тогда, наверное, Лашене тебя холодно приняли.

Правда, с тех пор, как Берта вышла замуж, она стала держать себя по отношению к Северине далеко не так ласково, как прежде. Ведь бедняжка Берта не сделалась ни добрее, ни лучше, а осталась таким же ничтожеством, каким и была. И нос у нее такой же красный, как и раньше. Руанские дамы очень хвалили ее изящные манеры и такт. Ее портил, без сомнения, муж, некрасивый, черствый скряга, который, разумеется, не мог хорошо повлиять на жену. Надо, впрочем, отдать Берте справедливость, она обращалась с бывшей своей подругой вполне вежливо, так что Северина не могла ни в чем ее упрекнуть.

– Значит, тебе не нравится сам Гранморен?..

Северина, отвечавшая до сих пор спокойно, ровным голосом, снова нетерпеливо возразила:

– Гранморен? Ну что ты!

Она заговорила нервно, отрывисто:

– Да его почти никогда там и не видишь. Он живет в парке, во флигеле, дверь выходит в пустынный переулок. Он уходит и приходит, когда ему заблагорассудится; никто в замке не знает, дома он или нет. Он даже сестре никогда не сообщает о своем приезде. Обычно он едет по железной дороге до Барантена, нанимает там экипаж и приезжает в Дуанвиль ночью. Живет по несколько дней в своем домике, никому не показываясь. Он-то никого там не беспокоит.

– Я спросил о нем потому, что ты сама рассказывала мне раз двадцать, что в детстве боялась его, как черта...

– Ну уж, и как черта... Ты, по обыкновению, преувеличиваешь... Правда, он был строгий. Он, бывало, так пристально всматривается в тебя своими глазищами, что поневоле тотчас потупишься. Я сама видела, как люди до того перед ним смущались, что не могли слова

вымолвить – он слыл суровым и очень умным человеком... Но меня он никогда не бранил. Я всегда чувствовала, что он расположен ко мне.

Она снова стала говорить медленно, с расстановкой, устремив взор куда-то вдаль.

– Помню... Еще ребенком я играла с подругами в парке. Как только, бывало, увидят его, все прячутся, даже родная его дочь, Берта, она всегда боялась оказаться в чем-нибудь виноватой. А я ожидала его совершенно спокойно. Он проходил мимо и при виде моей улыбающейся рожицы похлопывал меня слегка по щеке... Потом – мне уже было лет шестнадцать – Берта всегда посылала меня к отцу, если ей надо было что-нибудь у него выпросить. Я говорила с ним смело, никогда не опускала перед ним глаза, хотя чувствовала, что его взгляд пронизывает меня насквозь. Но мне это было нипочем, я была заранее уверена, что он сделает все, что я захочу... Да, я помню, все помню! Стоит мне только закрыть глаза, и я ясно могу представить себе каждый уголок парка, каждую комнату, каждый закоулок в замке...

Она замолчала и закрыла глаза. По ее покрасневшему, возбужденному лицу пробежала дрожь при воспоминании о чем-то пережитом ею там, о чем она не хотела рассказать мужу. Она просидела так с минуту, губы ее слегка дрожали, уголок рта судорожно подергивался.

– Разумеется, он был очень добр к тебе, – проговорил Рубо, закуривая трубку. – Он не только воспитал тебя как барышню, но был тебе прекрасным опекуном. Он приберег гроши, оставшиеся тебе от отца, и добавил еще от себя кругленькую сумму к нашей свадьбе... Кроме того, он непременно оставит тебе что-нибудь в наследство. Он сам говорил об этом в моем присутствии.

– Да, – подтвердила вполголоса Северина, – он хотел отказать мне дом в небольшом имении Круа-де-Мофра, – там теперь проходит железная дорога. В былое время Гранморены ездили туда на несколько дней... Но на это я не рассчитываю, Лашене, наверно, обработают его так, что он ничего мне не оставит. Я бы даже хотела, чтобы он ничего мне не оставил, ничего.

Она произнесла последние слова так громко и решительно, что муж с удивлением вынул изо рта трубку и выпучил глаза.

– Это еще что за глупости! Говорят, будто у старика Гранморена капитал в несколько миллионов франков. Что же тут дурного, если он вздумает отказать малую толику своей крестнице? Это никого не удивило бы, а нам это было бы очень кстати...

У него вдруг мелькнула мысль, заставившая его рассмеяться:

– Уж не боишься ли ты прослыть его дочерью? Хотя вид у Гранморена очень суровый, однако за ним, говорят, водятся грешки. Еще при жизни жены он не пропускал ни одной горничной. Да и сейчас, несмотря на свои годы, готов подцепить любую... Пожалуй, чего доброго, ты и на самом деле приходишься ему дочерью!..

Северина сердито вскочила, лицо ее горело, в голубых глазах был испуг.

– Его дочерью!.. Нет! Я не хочу, чтобы ты позволял себе шутить таким образом, слышишь? Как я могу быть его дочерью? Разве я похожа на него?.. Довольно об этом. Поговорим о чем-нибудь другом. Я не хочу ехать в Дуанвиль, потому что мне это неуютно и потому что предпочитаю вернуться с тобою в Гавр...

Он покачал головой и жестом успокоил жену. Ладно, ладно, пусть будет так, раз это ее раздражает. Рубо улыбался, он никогда не видел ее такой возбужденной. Должно быть, всему причиной вино. Ему хотелось заслужить ее прощение, он взял нож и снова стал восхищаться им, тщательно его вытер и, чтобы показать, что нож острый, как бритва, начал обрезать им себе ногти.

– Уже четверть пятого, – проговорила Северина, глядя на часы. – Мне нужно еще побывать в нескольких местах... Нам пора готовиться к отъезду...

Ей необходимо было окончательно успокоиться, и, прежде чем привести немного в порядок комнату, она снова подошла к окну, облокотилась на подоконник. Муж ее, положив нож

и трубку, тоже встал, подошел к ней, тихонько обнял ее сзади и, положив подбородок на ее плечо, прижался головой к ее голове. Оба они как будто замерли в этой позе.

Внизу, на железнодорожной станции, неустанно сновали взад и вперед маленькие рабочие паровозы. Они двигались почти бесшумно, давали едва слышные свистки, напоминая проворных, домовитых хозяек.

Один паровоз прошел мимо окна, у которого стояли Северина с мужем, и затем исчез под Европейским мостом, отводя в парк вагоны разобранного трувильского поезда. За мостом рабочий паровоз разминулся с пассажирским локомотивом, только что вышедшим из депо. У этого медные и стальные части так и сверкали. Щеголеватый, свежий, блестящий, он был похож на путешественника, подготовившегося к дальней дороге. Остановившись возле самого моста, он двумя отрывистыми свистками потребовал себе пути у стрелочника, который сейчас же направил его к уже составленному поезду, ожидавшему под навесом у дебаркадера главного вокзала. Поезд этот должен был отойти двадцать минут пятого в Диепп. На дебаркадере густой толпой теснились пассажиры, слышалось громоханье багажных тележек, носильщики торопливо выгружали багаж в вагоны. Но вот локомотив со своим тендером подошел к переднему вагону и, глухо ударившись о его буфера, остановился. Старший рабочий накинул цепь на крюк и тщательно завернул гайку дышла. В стороне Батиньоля небо омрачилось. Сероватые сумерки, окутывая фасады домов, казалось, спускались на расходившиеся веером рельсы; вдали, неясные в вечерней дымке, беспрестанно проходили и уходили поезда пригородных железных дорог и Окружной дороги. Над темными крышами железнодорожных депо и ангаров, над погружавшимся во мрак Парижем расплывались рыжеватые клубы дыма.

– Нет, нет, оставь меня, – прошептала Северина, но Рубо, возбужденный теплотой и ароматом ее молодого тела, только крепче сжал ее в объятиях. Северина попыталась высвободиться, и при этом ее движении он окончательно потерял голову. Он оторвал ее от окна, захлопнув его нечаянно локтем. Его губы искали ее губ, и, впившись в них поцелуем, он понес жену к кровати.

– Не надо, не надо, ведь мы не дома, – твердила Северина. – Прошу тебя, только не здесь.

Она сама словно опьянела, возбужденная сытным завтраком, вином, своей лихорадочной беготней по Парижу. Жарко натопленная комната, стол с остатками завтрака, неожиданная поездка, принимавшая характер кутежа вдвоем, – все зажигало в ней кровь, напрягало ее нервы. И в то же время она, сама не зная, почему, сопротивлялась, вцепившись в спинку кровати, боролась, испуганная и возмущенная.

– Нет, нет, я не хочу.

Весь красный, еле владея собой, он дрожал, он готов был взять ее силой.

– Глупенькая, ведь никто не узнает, мы оправим потом постель.

Обычно у себя дома, в Гавре, она с кроткой уступчивостью отдавалась ему после завтрака, когда он приходил с ночного дежурства. Это не доставляло ей удовольствия, но она проявляла тогда большую мягкость, ласково соглашаясь удовлетворить его желание. Но такую, как сейчас, пылкую, трепещущую от страсти, Рубо видел свою жену в первый раз, и это сводило его с ума.

Ее голубые глаза казались темнее в отблеске черных волос, полные яркие губы алели на нежном продолговатом лице. Перед ним была женщина, которой он до сих пор не знал. Почему она его отталкивала?

– Почему ты не хочешь? У нас еще есть время.

В ней происходила непонятная для нее самой внутренняя борьба; в необъяснимом страхе она закричала, и такое неподдельное страдание было в этом крике, что Рубо наконец овладел собой.

– Умоляю тебя!.. Я и сама не понимаю, но меня что-то душит при одной только мысли... Не надо! Нехорошо...

Они упали на край кровати. Рубо провел рукой по лицу, как бы отгоняя горячую волну крови. Видя, что он успокоился, она нежно склонилась к нему и крепко поцеловала в щеку, в доказательство, что любит его. С минуту они сидели молча, стараясь прийти в себя. Взяв руку Северины, Рубо играл старинным золотым перстнем в виде змейки с рубиновой головкой, который она носила на одном пальце с обручальным кольцом. Этот перстень она никогда не снимала.

– Моя змейка, – бессознательно, словно во сне, проговорила Северина, думая, что муж смотрит на перстень, и чувствуя непреодолимую потребность говорить. – Он подарил мне ее в Круа-де-Мофра, когда мне исполнилось шестнадцать лет...

Рубо с изумлением поднял голову:

– Кто?.. Гранморен?

Под испытующим взглядом мужа Северина точно внезапно пробудилась от своей грезы. Щеки ее похолодели, она хотела ответить, но не находила слов. Ее охватило какое-то оцепенение.

– Но ведь ты мне всегда говорила, что этот перстень достался тебе от матери.

Она могла бы еще теперь исправить неосторожно вырвавшиеся слова: рассмеяться, обработать все в шутку. Но, не владея собой, под влиянием охватившего ее оцепенения, она возразила:

– Милый мой, я никогда не говорила, что этот перстень достался мне от матери...

Бросив на нее внимательный взгляд, Рубо побледнел.

– Как! Ты никогда мне этого не говорила? Ты двадцать раз это повторяла. Нет ничего дурного в том, что Гранморен подарил тебе перстень. Он делал тебе гораздо более ценные подарки... Но зачем ты скрывала это от меня? Зачем ты лгала, говоря, что получила перстень от матери?

– Я вовсе не говорила, что получила его от матери... Ты ошибаешься, мой друг...

Бессмысленное упорство. Северина видела, что губит себя, что теперь муж ясно читает у нее в душе. Она хотела бы вернуть свои слова, но было уже поздно. Она чувствовала, что выдает себя, что признание вырвется против ее воли. Холод разлился по всему ее лицу, губы нервно подергивались. Рубо сделался положительно страшен: он весь побагровел, точно кровь готова была брызнуть из его вен. Он схватил ее за руки и, притянув к себе, глядел на нее в упор, чтобы лучше прочесть в ее растерянном, испуганном взгляде то, чего она не хотела высказать.

– Проклятье! – проговорил он, задыхаясь. – Проклятье!

Ей стало страшно, она пригнула голову, прикрыла ее рукой, боясь удара кулаком. Мелкий, незначительный, ничтожный факт – она и позабыла, что когда-то солгала мужу по поводу кольца, – и вот истина стала явной. Для этого понадобилась всего лишь минута, всего лишь несколько слов. Рубо бросил жену поперек кровати и стал бить кулаками куда попало. За три года он ни разу не ударил ее даже в шутку, а теперь избивал ее в опьянении бешенства, в слепом животном порыве, со всей силой рабочего, передвигавшего когда-то с места на место вагоны.

– Негодная тварь! Ты с ним жила!.. Путалась с ним!.. Путалась!..

Повторяя эти слова, он приходил в еще большую ярость и осыпал Северину новыми ударами, точно старался пригвоздить ее к постели.

– Потаскушка! Стариковы объедки!.. Путалась с ним!.. Путалась!..

Он положительно задыхался от гнева, вместо слов у него вырывались какие-то шипящие звуки. Она твердила: «Нет, нет...» Не находя иного оправдания, она отрицала из страха, что он убьет ее. Это упорство во лжи довело его до полного бешенства.

– Признавайся, что ты с ним жила!

– Нет, нет...

Он снова схватил ее и крепко держал, не давая уткнуться лицом в одеяло – бедняжка пыталась как-нибудь спрятаться от него, – заставил ее смотреть прямо ему в лицо.



– Признавайся, что ты с ним жила!

Северина выскользнула у него из рук и бросилась к двери. Одним прыжком он нагнал ее у стола и бешеным ударом кулака свалил с ног, потом набросился на нее и, схватив за волосы, притиснул головой к полу. Одно мгновение они лежали неподвижно, лицом к лицу. И в наступившей жуткой тишине можно было явственно расслышать пение и смех барышень Довернь. Громкие звуки фортепьяно заглушали шум борьбы. Клэр распевала детские песенки, а Софи аккомпанировала ей, нещадно колотя по клавишам.

– Ну, признавайся, что ты с ним жила!

Она не смела более отрицать и молчала.

– Признавайся, дьявол, или я выпущу из тебя кишки!..

Он и в самом деле может ее убить, Северина ясно читала это в его взгляде. Падая, она заметила на столе раскрытый нож. Она видела сверкнувшее лезвие, и ей показалось, что муж уже заносит над ней руку. Ее охватило чувство безотчетного страха, заставившее забыть все на свете; ей хотелось только поскорее покончить с этим.

– Ну да, это правда... Отпусти!

То, что произошло потом, было отвратительно. Признание, которого он требовал с такой жестокой настойчивостью, точно ударило его по лицу, как нечто чудовищное, невозможное. Теперь ему казалось, что он никогда не мог бы даже предположить подобной мерзости. Он схватил жену и стал колотить ее голову о ножку стола. Северина хотела вырваться, а он тащил ее за волосы через комнату, задевая по дороге за стулья. Каждый раз, как она пыталась подняться, он в диком, бессмысленном иступлении, задыхаясь, стиснув зубы, ударом кулака валил ее на пол. Толкнув стол, он чуть не опрокинул переносную печку. К углу буфета прилипла окровавленная прядь волос. Когда наконец, измученные, истерзанные этой ужасной сценой, они перевели дух, когда Рубо устал колотить, а Северина почти лишилась чувств от побоев, они опять оказались возле кровати. Она лежала на полу, а он, присев над нею на корточки, держал ее за плечи. Внизу по-прежнему раздавалась музыка; слышались взрывы звонкого, юного смеха.

Рубо рывком поднял жену и прислонил ее к кровати, а сам, стоя на коленях, навалился на нее всей своей тяжестью; к нему наконец вернулась способность говорить. Он больше не бил ее, он истязал расспросами в непреодолимом нетерпении узнать все.

– Так ты жила с ним, распутница!.. Повтори-ка, повтори, что ты жила с этим стариком... Сколько же тебе было тогда лет? Наверно, девчонкой еще была, да?

Она вдруг разрыдалась так сильно, что не в состоянии была отвечать.

– Дьяволыщина! Скажешь ты наконец!.. Тебе, наверно и десяти лет не было, когда ты начала забавлять этого старика! Для этой мерзости он, видно, и воспитывал тебя так заботливо. Говори же, черт возьми, как это было, или я опять примусь за тебя...

Она плакала и не могла вымолвить ни слова. Он поднял руку и отпустил ей тяжелую пощечину. Трижды повторил он свой вопрос и, не получая ответа, трижды ударил жену по щеке.

– Сколько же тебе было тогда лет? Отвечай, потаскуха, отвечай!

Зачем бороться? Северине казалось, что жизнь от нее уходит. Он был в состоянии вырвать у нее сердце своими корявыми пальцами рабочего. Допрос продолжался, и она рассказывала все, до того подавленная стыдом и страхом, что едва можно было расслышать слова, срывавшиеся с ее уст. А он терзался невыносимой ревностью, его бешенство нарастало от боли, которую причиняли ему картины, вызываемые его расспросами. Ему было мало того, что она рассказывала, он требовал мельчайших подробностей, обстоятельного описания фактов. Прильнув ухом к губам несчастной женщины, он терпел смертельные муки от этой исповеди, которую она шептала под угрозой поднятого кулака, готового обрушиться, как только она вздумает замолчать.

Снова промелькнуло перед ним все ее прошлое в Дуанвиле, ее детство и молодость. Где же это произошло? Среди вековых дубов огромного парка или же в каком-нибудь заброшенном уголке замка? Очевидно, Гранморен имел уже в виду ею воспользоваться, когда после смерти своего садовника взял ее в дом, чтобы воспитывать вместе со своей дочерью. Несомненно, это началось еще с тех пор, когда при его появлении другие девочки разбегались, бросая игру, а Северина улыбалась и смотрела ему прямо в глаза, ожидая, чтобы он мимоходом погладил ее по щеке. А впоследствии, когда она так смело просила у него всего, чего ей хотелось, она чувствовала, что будет его любовницей. Ведь он подкупал ее своей любовью, старый волокита за горничными, он, такой достойный и суровый с другими. Вот мерзость! Этот старик заставлял целовать себя, как дедушку, следил за развитием девочки, прикасался к ней, постепенно овладевал ею, так как у него не хватало терпения дожидаться, когда она созреет!

Рубо задыхался.

– Ну, говори! Сколько тебе было тогда лет?

– Шестнадцать с половиной...

– Лжешь!..

К чему ей теперь лгать? В полном изнеможении она устало пожала плечами.

– Где же это случилось в первый раз?

– В Круа-де-Мофра.

Он на мгновение замолчал. Губы его дергались, в глазах мелькали желтые искры.

– Я хочу, чтобы ты мне сказала, что он с тобой сделал.

Северина молчала. Рубо поднял кулак, тогда она сказала:

– Ты ведь мне не поверишь.

– Говори... Ему ничего не удалось, а?

Она ответила кивком головы. Вот именно.

Но тогда он захотел узнать все в точности, приставал к ней с самыми гнусными и непристойными расспросами. Она молчала, судорожно стиснув зубы, и только знаками отвечала: да или нет. Быть может, им обоим станет легче, когда она осознается во всем. Муж, однако, страдал еще больше от подробностей, которые жена считала смягчающими обстоятельствами. Нормальные, здоровые отношения были бы для него менее мучительны, но этот разврат и гниль были омерзительны; его терзала ревность, как терзает отравленное лезвие человеческое тело. Теперь для него все кончено. Ему жизнь будет не в жизнь. Эта гнусная картина будет постоянно преследовать его. Из его груди вырвалось судорожное рыдание:

– Ах, черт, черт возьми, нет... Этого быть не может... Это невыносимо!

Затем, в новом порыве озлобления, он схватил жену за плечи и встряхнул ее.

– Ах ты, негодная тварь, зачем же ты вышла за меня? Разве ты не знала, что подло так обманывать меня? У иной воровки хватило бы больше совести... Значит, ты меня презирала, не любила?... Ну, говори же, зачем ты вышла за меня?..

Она ответила неопределенным жестом. Разве она могла с точностью объяснить себе теперь, зачем она тогда это сделала? Она была довольна, что выходит замуж, надеялась, что так ей будет легче покончить с другим. Мало ли что делаешь в жизни нехотя, и все же приходится это делать, так как это оказывается наиболее благоразумным. Да, Рубо она действительно не любила. Но Северина не решалась ему высказать, что не будь всей этой истории, она никогда не согласилась бы выйти за него замуж.

– Старик, разумеется, хотел тебя пристроить... Он обрадовался, что нашел дурня... А? Он хотел тебя пристроить, чтобы продолжать прежнее? Он для того и увозил тебя два раза?

Она молча кивнула.

– Значит, и теперь он приглашал тебя все для того же? Эта гнусность так и тянулась бы без конца. И если я тебя не задушусь, это опять начнется!

Он судорожно протянул руки к ее горлу. Она возмутилась:

– Видишь, как ты несправедлив... Я ведь сама отказалась ехать с ним. Ты меня посылал, а я все-таки ни за что не хотела. Припомни хорошенько... Ты видишь, я сама не хочу продолжать с ним. С этим покончено. Никогда больше я не согласилась бы на что-либо подобное.

Рубо чувствовал, что она говорит правду, но ему не было от этого легче. Точно нож в сердце, терзала его мучительная боль от сознания непоправимости того, что произошло между Севериной и этим человеком. Он безумно страдал от своего бессилия сделать так, чтобы этого не было. Все еще не выпуская Северину, он пригнулся к ней вплотную и пристально вглядывался в нее, как будто стараясь еще раз прочесть на ее лице все, в чем она ему созналась. Он бормотал, как в бреду:

– В Круа-де-Мофра, в красной комнате... Я знаю, окно выходит на полотно железной дороги, кровать против окна. Значит, там, в этой комнате... Теперь я понимаю, почему он собирается оставить тебе в наследство этот дом. Ты его заработала. Как же ему было не позаботиться о твоих грошах и не дать тебе приданое! И это судья, миллионер, уважаемый всеми человек, ученый, аристократ!.. Просто голова идет кругом... А что, если он приходится тебе родным отцом?

Избитая, измученная Северина с неожиданной силой оттолкнула мужа и вскочила на ноги:

– Нет, это неправда. Я готова вытерпеть все. Бей меня, режь... Но не говори таких вещей. Это ложь! – возмущенно кричала она.

Рубо крепко держал ее за руку.

– Откуда ты знаешь, что ты не его дочь? Тебя, наверно, потому и возмущает все это, что ты сама сомневаешься.

Она пыталась вырвать у него руку, и при этом движении он почувствовал на ее пальце перстень – золотую змейку с рубиновой головкой. Он сорвал перстень с пальца и в новом припадке бешенства растоптал его каблуком. Потом молча, совершенно подавленный, принялся ходить по комнате из угла в угол. Она опустилась на кровать, неподвижно уставившись на него широко раскрытыми глазами. Его молчание угнетало ее.

Ярость Рубо не проходила. Минутами, казалось, она затихает, но вслед за тем снова охватывала его, как опьянение, заливала могучими волнами, уносившими его в своем круговороте. Вне себя метался он по комнате, размахивая кулаками, весь во власти налетевшего на него вихря бешенства, подчиняясь одной лишь потребности – как-нибудь насытить пробудившегося в нем зверя. Это была чисто физическая, непреодолимая потребность, жажда мщения, терзавшая все его существо. У него не будет ни минуты покоя, пока он ее не утолит.

Он бегал из угла в угол по комнате и, ударив кулаками себя по голове, проговорил прерывающимся голосом:

– Что же я теперь стану делать?

Если он сразу не убил эту женщину, он не в состоянии будет убить ее теперь. Он сознавал, что с его стороны было низостью оставить ее в живых, и это сознание еще более разжигало его гнев. Он чувствовал, что не задушил Северину лишь потому, что в нем еще сильно физическое влечение к ней. Но не может же он, однако, оставить ее по-прежнему у себя. Что же ему с нею делать? Выгнать ее, что ли, на улицу и никогда потом не пускать к себе на глаза?.. При этой мысли в нем поднялась новая волна острой душевной боли. Он почувствовал непреодолимое омерзение к самому себе, так как ему было ясно, что он не сделает даже и этого. Как же быть? Недоставало только примириться со всей этой мерзостью, вернуться с этой женщиной в Гавр и продолжать жить с нею, как ни в чем не бывало. Нет, ни за что! Лучше смерть. Лучше он убьет сейчас же и ее, и себя. Он пришел в такое отчаяние, что громко, испуганно крикнул:

– Что же я теперь стану делать?

Сидя на кровати, Северина следила за ним широко раскрытыми глазами. Она питала к нему спокойную, товарищескую привязанность, и теперь его мучительные душевные стра-

дания вызывали в ней жалость. Она готова была извинить брань и побои, если бы безумная вспышка мужа не вызвала в ней такого изумления, — она до сих пор не могла опомниться. Северина была от природы пассивна и покорна. Потому-то она в ранней молодости и подчинилась желаниям старика, а впоследствии беспрекословно позволила выдать себя замуж только ради того, чтобы все уладилось. Она не могла понять такого взрыва ревности из-за давнишних проступков, в которых сама раскаивалась. Она не была порочной женщиной, чувственность едва начинала просыпаться в ней. И эта мягкая и, несмотря на все пережитое ею, целомудренная женщина глядела на своего мужа, который в бешенстве метался по комнате, как глядела бы на волка, на существо другой породы. Что с ним? В своем ли он уме? Ее особенно пугало сознание, что зверь, которого она подозревала в нем уже целых три года и который иногда позволял себе глухо рычать, теперь сорвался с цепи и в бешенстве готов укусить. Что сказать ему, как предотвратить беду?

Наконец, когда, бегая из угла в угол по комнате, Рубо очутился возле кровати, на которой сидела Северина, она осмелилась заговорить с ним:

— Послушай, мой друг...

Он, однако, не слышал ее. Его относил на другой конец комнаты, словно соломинку, сделавшуюся добычей урагана.

— Что я стану делать?... Что же я стану делать?

Северина схватила его за руку, он остановился.

— Послушай, мой друг, я же сама отказалась ехать туда!.. И я никогда, никогда больше не поехала бы... Я люблю только тебя...

Она хотела его приласкать, привлекла к себе, подставила ему губы для поцелуя, но, опустившись уже на кровать возле жены, он вдруг с отвращением оттолкнул ее.

— Ах ты, потаскушка, теперь ты не прочь... Только что ты отказывалась, отталкивала меня... А сейчас ты не прочь, чтобы снова завладеть мною... Ты знаешь, чем можно взять нашего брата-мужчину... Но я не могу, нет! Я чувствую, что вся моя кровь обратилась бы в яд от твоих ласк!

Он дрожал всем телом. Мысль, что он может сейчас взять эту женщину, обожгла его, как пламя. И во мраке безмерной страсти, из глубины его оскверненного желания внезапно встала перед ним роковая необходимость смерти.

— Чтобы твои ласки не убили меня, надо, чтобы я прежде убил его... Да, да, надо, чтобы я его убил!..

Повторяя это слово громким голосом, он выпрямился, точно вырос; казалось, это слово успокоило его, принесло с собой определенное решение. Он медленно подошел к столу и молча взглянул на блестящее лезвие раскрытого карманного ножа. Машинально закрыл нож и положил его в карман. Потом остановился, обдумывая, опустил руки, уставившись в пространство. Две глубокие морщины прорезали его лоб, свидетельствуя о тяжелой внутренней борьбе. Стараясь найти какой-нибудь исход, он вернулся к окну, открыл его и перевесился через подоконник. Вечерняя прохлада пахнула ему в лицо. Северине снова стало страшно, она тоже подошла к окну и, не смея спрашивать мужа, старалась угадать, что происходит в его упрямой голове. Она стояла возле него в трепетном ожидании; перед ней расстилалось необъятное небо.

Начинало темнеть. Отдаленные дома вырезались черными силуэтами на сером, сумрачном небе. Вставал лиловатый туман. Со стороны Батиньоля глубокий пролет затянуло серовато-пепельной дымкой, в которой уже исчезали железные фермы Европейского моста. По направлению к центру города стекла больших крытых дебаркадеров еще отсвечивали в последних лучах угасавшего дня; зато внизу уже сгустился мрак. Но вот в этом мраке засверкали искры: вдоль дебаркадеров начали зажигаться газовые фонари. Ярким белым светом блеснул фонарь локомотива диепского поезда, битком набитого пассажирами. Дверцы вагонов были уже закрыты, поезд ожидал лишь приказа дежурного помощника начальника стан-

ции, чтобы отойти. Очевидно, произошло какое-то недоразумение: красный сигнал стрелочника заграждал путь, а маленький рабочий локомотив поспешно отводил на запасные рельсы вагоны, оставленные по ошибке на главном пути. В этой невообразимой путанице рельсов, между вагонами, стоявшими неподвижными рядами на запасных путях, беспрерывно мелькали во мраке поезда. Один ушел в Аржантейль, другой в Сен-Жермен; прибыл длиннейший состав из Шербурга. Все чаще показывались сигналы, раздавались свистки и ответные звуки рожка. Со всех сторон, один за другим, появлялись огни: красные, зеленые, желтые, белые. Все смешалось в сгустившемся мраке, казалось, столкновение неизбежно, но поезда встречались, расходились, как змеи, однообразно плавным движением стелились по рельсам и исчезали во мраке. Но вот красный огонь стрелочника исчез. Диеппский поезд дал свисток и тронулся. Небо казалось свинцово-серым. Начал накрапывать дождик, обещавший зарядить на всю ночь.

Когда Рубо обернулся, на лице его было упрямое, непроницаемое выражение, словно наступавшая ночь окутала и его своим сумраком. Он принял окончательное решение и выработал план действий. Взглянув на часы – при свете умиравшего дня еще можно было различить стрелки, – он громко сказал:

– Двадцать минут шестого...

Он изумился: час, всего один лишь час, а сколько пережито! Ему казалось, что они терзают здесь друг друга уже много недель...

– Двадцать минут шестого... У нас еще есть время, – повторил он.

Северина, не смея обратиться к мужу с расспросами, следила за ним тревожным взглядом. Он пошарил в шкафу, достал оттуда бумагу, бутылочку чернил и перо.

– Садись, пиши.

– Кому?

– Ему... Садись же, говорят тебе!..

Северина инстинктивно отодвинулась от стола, не зная еще, чего потребует от нее муж, но он притащил ее обратно и усадил на стул, навалившись на нее всей тяжестью, чтобы она не могла встать.

– Пиши: «Выезжайте сегодня курьерским в шесть тридцать вечера и не выходите нигде до Руана».

Она держала перо, но рука ее дрожала. Ее пугала неизвестность, – что крылось в этих двух простых строчках? Она осмелилась поднять голову и умоляющим тоном спросила:

– Что ты хочешь делать, мой друг?.. Прошу тебя, объясни...

Он повторил громким, неумолимым голосом:

– Пиши... Пиши...

Затем, пристально глядя ей прямо в глаза, не раздражаясь, не бранясь, но с упорством, гнет которого подавлял и уничтожал ее волю, он продолжал:

– Ты увидишь, что я собираюсь сделать... Но я хочу, чтобы ты это сделала вместе со мной, слышишь? Тогда мы будем с тобой заодно, и между нами установится прочная связь...

Он вызывал в ней ужас; она снова сделала попытку сопротивляться.

– Нет, нет, я хочу знать... Я не стану писать, пока не узнаю, для чего тебе это нужно.

Он молча взял ее маленькую, нежную, детскую руку и сжал ее в своем железном кулаке, словно в тисках, так что чуть не раздавил. Вместе с физической болью он как бы внедрял ей в плоть свою волю. Она вскрикнула и почувствовала, что утратила всякую способность к сопротивлению. Она могла только повиноваться, безвольно выполняя требования мужа, цель которых оставалась ей неизвестной. Она была пассивным орудием любви и теперь становилась пассивным орудием смерти.

– Пиши же, пиши...

И она написала то, что он ей продиктовал, хотя рука ее от боли с трудом водила пером.

– Ну вот, умница, – сказал он, получив записку. – Прибери тут, приготовь все. Я зайду за тобой...

Он был совершенно спокоен. Поправив перед зеркалом галстук, он надел шляпу и вышел. Она слышала, как он запер снаружи дверь, ключ дважды шелкнул в замке. Становилось темнее. Северина с минуту сидела, прислушиваясь ко всем звукам, долетавшим до нее извне. Из комнаты соседки, газетчицы, доносился глухой, жалобный вой. Очевидно, она ушла и заперла в комнате свою собачонку. Внизу, у Доверней, фортепьяно умолкло, и слышался веселый стук посуды: обе хозяйки были заняты в кухне: Клер готовила рагу из баранины, Софи приправляла салат. А Северина, разбитая, уничтоженная, в томительном ожидании наступавшей роковой ночи слушала, как они смеялись.

Четверть седьмого паровоз гаврского курьерского поезда, вышедший из-под Европейского моста, был подан и прицеплен к поезду. Все пути на станции были загромождены вагонами, мешавшими подвести этот поезд под навес главного вокзала. Он ждал под открытым небом, у платформы, кончавшейся узкой насыпью. Газовые фонари вдоль платформы мерцали во мраке, словно туманные звезды. Только что прошел сильный дождь, и в воздухе оставалась неприятная холодная сырость, поднимавшаяся со всего обширного открытого пространства, где сквозь туман виднелись вдали бледные огоньки в окнах домов на Римской улице. Все это казалось необъятным и вместе с тем печальным. Территория станции была залита водою, прорезана там и сям кроваво-красными огнями и беспорядочно загромождена темными массами паровозов, отдельными вагонами и частями составов, неподвижно дремавшими на запасных путях. Из глубины этого погруженного во мрак хаоса доносились всевозможные звуки, слышалось мощное, лихорадочное дыхание паровозов, раздавались резкие свистки, напоминавшие пронзительные крики насилуемых женщин, а сквозь глухой уличный шум и грохот долетали жалобные звуки сигнального рожка. Слышно было, как отдали распоряжение прицепить к поезду еще один вагон. Паровоз курьерского поезда стоял неподвижно, выпуская через клапан струю пара. Она поднималась сперва прямо вверх, а затем разбивалась на отдельные маленькие клочки, казавшиеся светлыми слезами на бескрайной траурной завесе, затянувшей небо.

Двадцать минут седьмого Рубо с женою вышли на дебаркадер. Проходя мимо дамской уборной на вокзале, Северина отдала тетушке Виктории ключ от ее комнаты. Рубо тащил жену за собой с таким видом, точно очень торопится и боится опоздать из-за нее. Его движения были резки и нетерпеливы, шляпа сдвинута на затылок; Северина, закрыв лицо густой вуалью, шла медленно и неохотно, словно разбитая усталостью. Смешавшись с толпой пассажиров, они шли вдоль ряда вагонов, отыскивая взглядом свободное купе первого класса. На платформах царило оживление. Носильщики торопливо катили к переднему вагону тележки с багажом; обер-кондуктор старался поместить в каком-нибудь вагоне многочисленную семью; дежурный помощник начальника станции, с сигнальным фонарем в руках, проверял сцепку вагонов. Рубо удалось наконец отыскать пустое купе, и он собирался усадить туда Северину, но его заметил начальник станции Вандорп, прохаживавшийся по платформе вместе со своим старшим помощником Довернем. Оба они, заложив руки за спину, следили, как прицепляли к поезду новый вагон. Пришлось с ними раскланяться, остановиться и потолковать.

Сперва поговорили об истории с супрефектом, закончившейся к общему удовлетворению. Потом зашла речь об аварии, о которой была получена рано утром телеграмма из Гавра.

У паровоза «Лизон», который по четвергам и субботам обслуживал шестичасовой курьерский поезд, сломался шатун, как раз, когда поезд прибыл на станцию. Машинист Жак Лантье, земляк Рубо, и кочегар Пекэ, муж тетушки Виктории, должны сидеть теперь сложа руки, пока им не переменят шатун, на что потребуется по меньшей мере двое суток. Стоя перед открытыми дверцами купе, Северина ожидала, пока ее муж окончит беседу с Вандорпом и Довернем. Рубо делал вид, будто находится в прекрасном расположении духа, говорил громко, смеялся. Но вот послышался толчок, и поезд подался на несколько метров назад. Паровоз пере-

двинул передние вагоны к вагону Э 293, который только что прицепили, так как понадобилось особое купе. Широко раскрывшаяся дверца вагона чуть было не ударила Северину, но молодой Анри Довернь, сопровождавший поезд в качестве обер-кондуктора, узнав ее под вуалью, быстро отвел от вагона. Затем, с вежливой улыбкой, он извинился за свою смелость и объяснил Северине, что особое купе предназначается для одного из членов правления общества, который потребовал себе это купе лишь за полчаса до отхода поезда. Северина без причины нервно рассмеялась, а молодой Довернь вернулся к своим служебным обязанностям совершенно очарованный; он не раз уже думал, что она могла бы стать очень приятной любовницей.

Часы показывали двадцать семь минут седьмого, оставалось только три минуты до отхода поезда. Рубо, беседовавший с начальником станции, следил издали за дверью вокзала; внезапно он покинул своего собеседника и вернулся к Северине. Так как вагон тронулся, им пришлось сделать несколько шагов, чтобы дойти до него. Стоя спиной к дебаркадеру, Рубо торопил жену и подсаживал ее в вагон. Рубо повинаясь мужу, она инстинктивно оглянулась и увидела запоздавшего пассажира. В руках у него был только один плед. Большой воротник его синего пальто был поднят, а круглая шляпа так низко надвинута на лоб, что при мерцающем свете газовых фонарей можно было рассмотреть лишь клочок седой бороды. Пассажир, очевидно, желал остаться незамеченным; но Вандорп и Довернь все же подошли к нему. Пассажир ответил на их поклоны только у дверей своего отдельного вагона и быстро вошел в купе. Это был он. Северина, дрожа, опустилась на скамейку. Рубо беспощадно сжал ей руку, как будто для того, чтобы напомнить о необходимости безусловного повиновения. Он ликовал, уверенный теперь, что исполнит задуманное. До половины седьмого оставалось не больше минуты, но еще ходил из вагона в вагон газетчик, назойливо предлагая вечерние газеты, а некоторые пассажиры прогуливались по дебаркадеру, докуривая папиросы. Затем все вошли в вагоны. С обоих концов поезда торопливо проходили кондукторы и затворяли дверцы. Рубо с неудовольствием заметил в купе, которое считал свободным, темную фигуру, по-видимому, женщину в трауре, молча и неподвижно сидевшую в углу. И он не мог удержаться от гневного возгласа, когда дверцы снова открылись и кондуктор поспешно втолкнул в купе двух пассажиров – мужчину и женщину, толстых и совершенно запыхавшихся. Поезд должен был сейчас тронуться. Снова стал моросить дождик, заливая утонувшие во мраке многочисленные железнодорожные пути, по которым постоянно сновали поезда, мелькая освещенными окнами вагонов. Зажглись зеленые огни. Несколько фонарей светилось почти на уровне полотна железной дороги. Все утонуло в беспредельном непроницаемом игреке, из которого выступал лишь навес дебаркадера главной линии, освещенный слабым отблеском газовых фонарей. Даже звуки приглушал этот мрак. Слышалось только громкое пыхтение паровоза, который, открыв свои отводные краны, выпускал из них крутящиеся волны белого пара. Пар поднимался вверх клубящимся облаком, развертываясь, словно саван привидения, смешиваясь порою с налетающим откуда-то черным дымом. Небо еще более омрачилось: тучи сажи неслись к ночному Парижу, освещенному заревом огней.

Дежурный помощник начальника станции поднял свой фонарь, давая машинисту сигнал потребовать путь. Раздались два свистка, и вдаль, возле будки стрелочника, красный огонь исчез, вместо него появился белый. Стоя у дверцы багажного вагона, обер-кондуктор ожидал сигнала отбытия, потом передал этот сигнал. Машинист дал протяжный свисток, а затем, открыв регулятор, пустил машину в ход. Поезд тронулся. Движение его было сперва незаметно, но затем все более ускорялось. Пройдя под Европейским мостом, он вошел в Батиньольский туннель. Виднелись только три фонаря на последнем вагоне – красный треугольник, напоминавший зияющую кровавую рану. Еще в продолжение нескольких секунд можно было следить за ним в холодном ночном мраке. Теперь поезд несся на всех парах, и ничто уже не могло его остановить; наконец он исчез из виду.



## II

Дом в Круа-де-Мофра стоит в саду, через который проходит железная дорога; дом расположен наискось к ней, но так близко от полотна, что весь трясется всякий раз, когда мимо проходят поезда. У каждого, кому доводилось проезжать по железной дороге из Парижа в Гавр, дом этот непременно оставался в памяти, хотя пассажиры, пронесившиеся мимо, знали о нем только то, что он стоит именно там, возле полотна железной дороги, заброшенный, закрытый наглухо, с серыми ставнями на окнах, позеленевшими от дождей. Одиноким дом как будто еще более усиливает впечатление запустения этого глухого уголка.

На целую милю кругом нет никакого жилья, за исключением домика железнодорожного сторожа возле дороги, которая пересекает рельсовый путь и ведет в Дуанвиль, находящийся оттуда в пяти километрах. Низенький, с рассевшимися стенами и черепичной крышей, поросшей мхом, домик словно врос в землю посреди огорода, обнесенного живой изгородью. Сруб большого колодца в огороде почти одной вышины с домом. Переезд через полотно дороги приходится как раз посередине между Малонейской и Барантенской станциями, в четырех километрах от каждой. Едут через переезд очень редко, и старый, полустгнивший шлагбаум поднимается только для ломовых телег, едущих из Бекурской каменоломни, которая находится в лесу, километрах в четырех оттуда. Трудно отыскать другое место, более заброшенное и до такой степени отрезанное от остального мира. Со стороны Малонэ длинный туннель перерезает все пути сообщения, а в Барантен можно попасть только по неудобной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги. Неудивительно, если прохожие встречаются там редко.

На этот раз, однако, по тропинке, которая вела в Круа-де-Мофра, шел одинокий путник, доехавший до Барантена с гаврским поездом. Был теплый, но пасмурный вечер. Вся окрестная местность покрыта долинами и холмами, и полотно железной дороги проложено или по насыпям, или в выемках, а тропинка вдоль полотна то круто поднимается в гору, то опускается на дно обрывистой лощины. Ощущение мертвого покоя еще усиливается видом бесплодных беловатых холмов, кое-где лишь покрытых мелкими зарослями, пустынных узких долин, где текут ручьи под сенью раскидистых ив. Многие меловые холмы лишены всякой растительности, повсюду кругом гробовая тишина и молчание. Путник, молодой здоровый парень, быстро шел по тропинке, словно торопясь уйти подальше от печального сумрака, тихо спускавшегося на эту безотрадную землю.

В огороде железнодорожного сторожа девушка черпала из колодца воду. Это была рослая, сильная восемнадцатилетняя девушка, блондинка, с пухлыми пунцовыми губами, большими зеленоватыми глазами, густыми, длинными волосами и низким лбом. Ее нельзя было назвать хорошенькой, широкая кость и мускулистые руки делали ее скорее похожей на крестьянского парня. Завидев путника, спускавшегося по тропинке, она бросила ведро и подбежала к решетчатой калитке в живой изгороди.

– А, Жак! – закричала она.

Жак поднял голову. Он был высокого роста, брюнет, красивый круглолицый малый лет двадцати шести, с правильными чертами; его портили только слишком выдающиеся челюсти. У него были густые, вьющиеся волосы и такие черные усы, что лицо казалось бледным. Кожа у него была нежная, щеки тщательно выбриты, так что его можно было бы принять за барича, если бы руки, пожелтевшие от смазочного масла и сала, не обличали в нем машиниста. Но руки были тонкие и гибкие.

– Добрый вечер, Флора, – ответил он спокойно.

Но его большие черные глаза, усеянные золотистыми точками, как будто потускнели, словно заволоклись рыжеватой дымкой. Веки его задрожали, и он отвел глаза в сторону, как

будто внезапно почувствовал какую-то неловкость, даже волнение. Это было почти болезненное ощущение, он весь даже подался инстинктивно назад.

Флора стояла неподвижно, глядя прямо на него, и заметила невольную дрожь, которая всегда охватывала его при встрече с женщиной и которую он всеми силами старался подавить. Это, по-видимому, огорчило и опечалило ее. Желая скрыть свое замешательство, Жак осведомился у Флоры, дома ли ее мать, хотя прекрасно знал, что та больна и давно уже не выходит из комнаты. Девушка кивнула в ответ и молча посторонилась, чтобы он мог, не задев ее, войти в калитку, а потом, гордо выпрямившись, вернулась к колодцу.

Жак быстро прошел небольшой садик и вошел в дом. Тетушка Фази, как он привык называть ее с детства, сидела одна в просторной жилой комнате, служившей в то же время и кухней. Она сидела на соломенном стуле, ноги ее были закутаны старым шерстяным платком. Урожденная Лантье, она приходилась двоюродной сестрой отцу Жака. Жак был ее крестником и воспитывался у нее в доме с шестилетнего возраста, после того, как его отец и мать бросили его и уехали из Плассана в Париж. Позже Фази отдала его в ремесленное училище. Жак питал за это живейшую благодарность к тетке и говорил, что только ей обязан тем, что выбился в люди. Прослужив два года на Орлеанской железной дороге, он поступил в общество Западных дорог машинистом первого класса. Тогда-то он и встретился снова со своей крестной матерью, которая тем временем вышла вторично замуж и жила с обеими своими дочерьми от первого брака, словно в ссылке, в захолустье, в Круа-де-Мофра, где второй ее муж, Мизар, служил железнодорожным сторожем. Теперь, несмотря на то, что ей исполнилось всего только сорок пять лет, прежняя красивая, рослая, здоровенная тетка Фази казалась пожелтевшей сторбленной шестидесятилетней старухой. Ее постоянно мучила лихорадочная дрожь.

– Как! Это ты, Жак?.. – радостно воскликнула она. – Ах, сынок, как я рада! Вот уж не ожидала с тобой увидаться!

Он поцеловал ее в обе щеки и объяснил, что неожиданно оказался на двое суток в отпуску. У его паровоза «Лизон» по прибытии в Гавр сломался шатун. Паровоз отправили в депо для починки, и, так как на это потребуется не меньше суток, он должен быть на работе лишь на следующий день, к отходу шестичасового курьерского. Вот он и решил повидаться с теткой. Он переночует у нее и уедет из Барантеа завтра утром с семичасовым поездом. Жак держал в своих руках высохшие руки крестной и рассказывал ей, до какой степени его беспокоило ее последнее письмо.

– Да, милый мой мальчик, мои дела плохи, совсем плохи... Как хорошо, что ты догадался повидаться со мной. Я знаю, что ты сильно занят, потому и не звала тебя... Ну вот, мы и увиделись... У меня так тяжело на сердце, так тяжело!

Она замолчала и боязливо посмотрела в окно. Начинало темнеть, но еще можно было разглядеть, что в сторожевой будке, по ту сторону полотна, сидел муж тетки Фази, Мизар. Такие будки, сколоченные из досок, установлены были вдоль дороги через каждые пять или шесть километров и соединялись друг с другом телеграфными проводами, чтобы обеспечить правильное движение поездов. Сначала тетушка Фази, а потом Флора служили при шлагбауме на переезде, а сам Мизар был участковым сторожем.

Как будто опасаясь, что муж может услышать ее, тетушка Фэзи, понизив голос, проговорила, дрожа всем телом:

– Я уверена, что он мне отраву подсыпает...

Жак привскочил от удивления, и его глаза, тоже обращенные к окну, снова заволочились странной рыжеватой дымкой, притушившей их черный блеск и мерцавшие золотистые искорки.

– Ну, что вы, тетя, – прошептал он, – он на вид такой тихий и слабый.

Мимо сторожевой будки только что промчался гаврский поезд, и Мизар вышел, чтобы закрыть путь. Пока он поднимал рычаг красного сигнала, Жак внимательно разглядывал его.

Это был мужчина маленького роста, худощавый, болезненный, с редкими выцветшими волосами и бородой, с унылым, изможденным лицом. Молчаливый и смирный, с начальством он был почителен до угодливости.

Выставив красный сигнал, Мизар вернулся в будку. Он занес в книгу час и минуту прохода поезда и, нажав две электрические кнопки, подал два сигнала: один на предшествующий участок о том, что путь свободен, другой на следующий участок о том, что поезд в пути.

– Ты его не знаешь, – продолжала тетка Фази. – Говорю тебе, он, наверно, окармливает меня какой-нибудь гадостью... Подумай, ведь я была такая здоровенная, что, кажется, могла бы его проглотить; а теперь этот никудышный коротышка изводит меня, живьем поедает...

Тетка Фази была охвачена глухой боязливой ненавистью; она изливала свою душу, радуясь, что нашелся наконец человек, который ее выслушает. Дура она была, когда решила выйти во второй раз замуж за человека без гроша, скупого, скрытного; а ведь она была на пять лет старше его, да еще две дочери у нее были – шести и восьми лет. Вот уже скоро десять лет, как она раздобыла это сокровище, но за это время не прошло и часа без того, чтобы она не раскаивалась в своем проступке. Ей выпала горькая, нищенская жизнь в этом холодном, заброшенном уголке северной Франции, где она вечно зябнет. Да и скука здесь смертельная, – слова не с кем вымолвить, даже соседки поблизости ни одной нет. Мизар был прежде укладчиком рельсов, а потом получил должность железнодорожного сторожа и зарабатывал тысячу двести франков в год. Ей самой платили пятьдесят франков в месяц за охрану шлагбаума на переезде, за которым теперь смотрит Флора. В этом заключалось для них и настоящее, и будущее: никакой надежды впереди – им предстояло жить и подыхать в этой дыре, где на сто километров кругом не встретишь живой души. Тетка Фази забыла только упомянуть про утехи, выпадавшие ей на долю, когда ее муж работал по укладке рельсов, а она оставалась одна с дочерьми при шлагбауме. Она была в то время еще здорова и слыла красавицей на всей линии от Руана до Гавра; железнодорожные инспекторы проездом всегда завертывали к ней. По этому поводу возгорелось даже соперничество между двумя соседними дистанциями: каждая хотела инспектировать пост Круа-де-Моффра. Муж ничему не мешал. Он был почтительно вежлив со всеми и как будто совершенно ступшеывался. Он уходил, возвращался, словно ничего не замечая. Но все эти развлечения были прерваны болезнью тетки Фази, и она уже целые месяцы была прикована к креслу в этой безлюдной пустыне, чувствуя, что тает не по дням, а по часам.

– Говорю тебе, – прибавила она в заключение, – что он взялся теперь за меня и непременно доконает, хоть сам он маленький и плюгавенький...

Внезапно раздался сигнальный звонок; тетушка Фази снова с тревогой посмотрела в окно. Это соседний пост уведомлял Мизара, что подходит поезд из Парижа. Стрелка сигнального аппарата, стоявшего у окна в будке, передвинулась в направлении движения поезда. Мизар остановил электрический звонок и, выйдя из будки, протрубил дважды в рожок, извещающая о прибытии поезда. Флора закрыла шлагбаум и стала возле него, держа перед собою сигнальный флаг в кожаном футляре. Скрытый еще за изгибом дороги, с возрастающим грохотом приближался курьерский поезд. Он пронесся мимо, как молния, потрясая домик железнодорожного сторожа и едва не унеся его с собою в бурном вихре. Флора вернулась в огород, а Мизар, закрыв путь в Гавр позади поезда, освободил обратный путь, опустив рычаг красного сигнала, так как новый звонок, сопровождавшийся поднятием другой стрелки, уведомил его, что поезд, прошедший пятью минутами раньше, миновал уже и следующий пост. Он вернулся в сторожевую будку, предупредил оба соседних поста, записал время прохода поезда и затем стал ждать следующего. Каждый день в продолжение целых двенадцати часов Мизар выполнял одну и ту же работу. Здесь он пил, ел и спал; за всю свою жизнь он не прочел ни одной газетной строки, и, казалось даже, ни одна мысль не зарождалась в его приплюснутом черепе.

Жак, в былое время поддразнивавший свою крестную по поводу ее побед над железнодорожными инспекторами, заметил с невольной улыбкой:

– Быть может, он вас ревнует?

Фази пожала плечами и тоже не могла удержаться от улыбки, которая на мгновение оживила ее потускневший взгляд.

– Что ты говоришь, сынок! Ревнует!.. Ему на все наплевать, что бы я ни делала, лишь бы только был цел его карман.

У нее снова начался озноб.

– Нет, ему и дела не было до этого, – продолжала она. – Он только о деньгах помышляет... Мы, видишь ли, поссорились с ним из-за того, что я не хотела отдать ему тысячу франков, я ведь получила в прошлом году наследство от отца. Мизар пригрозил, что это мне не пойдет впрок, и вот, правда, я захворала... С тех самых пор я все и болею...

Жак понял, что она хотела этим сказать, но не придавал серьезного значения ее подозрениям, объясняя их болезненным раздражением, и старался ее успокоить. Но она упрямо качала головой, как человек, у которого сложилось непоколебимое убеждение. Тогда Жак сказал:

– Ну что же, все это можно уладить как нельзя проще... Отдайте ему ваши деньги...

Она так разозлилась, что, позабыв о болезни, с усилием встала и злобно воскликнула:

– Отдать мои деньги... Ни за что на свете! Да я лучше сдохну... Не беспокойся, они хорошо припрятаны. Пусть хоть весь дом перероют, бьюсь об заклад, что ничего не найдут. Он-то, хитрая бестия, давно уже их разыскивает. Я ночью слышала, он все стенку простукивал. Ищи, ищи! Я готова сколько угодно терпеть, только бы видеть, как он постоянно остается с носом. Посмотрим еще, чья возьмет. Теперь я осторожна, в рот ничего не беру, к чему он прикасался. Да хоть я околею, он все равно их не получит. Лучше уж пусть в земле остаются.

Силы оставили ее, она упала на стул, вздрогнув от раздавшегося вновь звука сигнального рожка: Мизар извещал о поезде, шедшем в Гавр. Хотя Фази упорно отказывалась выдать мужу наследство, она втайне питала к нему страх, возраставший с каждым днем. Это был страх гиганта перед грызущим его насекомым.

Издали, с глухим гулом, подходил пассажирский поезд, вышедший из Парижа сорок пять минут первого пополудни. Слышно было, как он вышел из туннеля, пыхтение его становилось с каждым мгновением все громче. Затем он пронесся мимо, словно ураган, и грохот его колес постепенно замолк в отдалении.

Жак, глядевший все время в окно, видел, как мелькали мимо маленькие квадратные стекла, за которыми виднелись лица пассажиров. Чтобы рассеять мрачные мысли Фази, он шутливо заметил:

– Крестная, вы все жалуетесь, что ни одной собаки не видите в вашей дыре... А вот, смотрите, сколько людей!..

Сначала она не поняла и с изумлением переспросила:

– Какие люди? Ах, да, пассажиры. Ну, от них не много толку, я-то ведь их не знаю, с ними не поболтаешь...

Он продолжал, смеясь:

– Ну, меня-то уж вы знаете; а ведь я тоже частенько здесь проезжаю...

– Правда, тебя я знаю, я даже знаю, в котором часу проходит твой поезд. Я вижу, как ты проезжаешь мимо нас на своем паровозе. Но ты так быстро мчишься! Вчера ты махнул мне рукой, а я даже не успела тебе ответить... Нет, что уж тут! По мне все равно, хоть бы этих людей и вовсе не было...

Но все же мысль о громадном количестве людей, ежедневно проезжавших мимо нее в обоих направлениях – к Парижу и к Гавру, – нисколько не нарушая этим ее одиночества, заставила тетку Фази призадуматься: она молча глядела на полотно дороги, уже окутанное ночными сумерками. Когда Фази была здорова, могла двигаться и работать, стояла перед шлагбаумом с флагом в руках, она ни о чем подобном не думала. Но с тех пор, как, прикованная к своему

стулу, она могла лишь раздумывать о своей глухой борьбе с мужем, неясные и неопределенные мысли стали осаждать ее.

Непонятной казалась тетушке Фази жизнь в этом заброшенном захолустье, где не с кем было перекинуться словом, где беспрестанно день и ночь проносилось мимо нее множество мужчин и женщин в поездах, бурным вихрем мчавшихся на всех парах и потрясавших до основания ее маленький домик. Без сомнения, тут проезжали люди со всех концов земли – не одни только французы, но также иностранцы из самых отдаленных мест. Теперь ведь никому не сидится дома, и все народы, как уверяют, вскоре сольются воедино. Это просто замечательно: все люди – братья и мчатся далеко-далеко, в блаженную страну, где текут молочные реки в кисельных берегах. Фази пыталась сосчитать пассажиров в поездах, – по столько-то человек в каждом вагоне, – но цифры выходили слишком крупные, она сбивалась со счета. Иногда ей казалось, будто она узнает некоторые лица. Вот господин с белокурой бородой, должно быть, англичанин, он каждую неделю ездит в Париж. Она заметила также даму небольшого роста, брюнетку, постоянно проезжавшую по средам и субботам. Они мчались, однако, так быстро, что тетка Фази не была вполне уверена, что видела их на самом деле. Все лица смешивались, сливались, казались одинаковыми, теряясь одно в другом. Вихрь уносил их всех бесследно. Ей было особенно грустно при мысли, что вся эта разношерстная толпа, находившаяся в постоянном движении, уносившем с собою столько денег и благополучия, не подозревает, что она, Фази, находится в смертельной опасности. И если муж в один прекрасный вечер прикончит ее, поезда все так же будут проноситься мимо ее тупа, даже не подозревая, что тут же, рядом, в одиноком домике совершено преступление.

Фази продолжала пристально смотреть в окно. Ее ощущения были слишком неясны, она не могла объяснить их как следует и потому коротко сказала:

– Нечего и говорить, железные дороги – чудесная штука. Ездить можно быстро, да и народ становится от них как будто умнее... Звери, однако, остаются зверями, и какую бы хитрую механику ни выдумали люди, все-таки звери от нее не выведутся.

Жак в знак согласия утвердительно кивнул головой. Он глядел в это мгновение на Флору, отворявшую шлагбаум, чтобы пропустить ехавшую из каменоломни телегу, нагруженную двумя громадными каменными глыбами. Дорога вела только в Бекурскую каменоломню, и по ночам шлагбаум запирали на замок; лишь в очень редких случаях приходилось будить молодую сторожиху, чтобы пропустить запоздавшую телегу. Видя, что Флора по-приятельски болтает с молодым брюнетом-каменотесом, Жак воскликнул:

– Что это? Разве Кабюш заболел? Смотрите, вместо него с телегой идет его двоюродный брат Луи!.. Скажите, крестная, а вы часто видите с беднягой Кабюшем?

Она, не отвечая, всплеснула руками и тяжело вздохнула. Прошлой осенью у них тут разыгралась целая драма; ее здоровье, разумеется, от этого не могло поправиться. Ее младшая дочь, Луизетта, горничная г-жи Боннегон в Дуанвиле, прибежала однажды вечером, истерзанная и полуживая от страха, к своему жениху Кабюшу, который живет в лесной избушке; вскоре она умерла. По этому поводу ходили слухи, обвиняли Гранморена в насилии. Никто, однако, не смел говорить об этом громко. Даже Фази, знавшая всю подноготную, предпочитала молчать. Она ответила, однако, своему крестнику:

– Нет, Кабюш больше к нам не ходит. Он теперь дичится людей, стал настоящим бирюком... Бедная моя Луизетта! Она была такая славенькая, беленькая, добрая! Она меня очень любила и наверное стала бы теперь ухаживать за мной. Ну, а Флора... Прости ее, господи, я на нее не жалуясь, но у нее голова, должно быть, не совсем в порядке. Она хочет делать все по-своему, пропадает из дому по целым часам. И притом очень гордая и такая резкая на язык... Горько мне...

Слушая крестную мать, Жак продолжал следить глазами за тяжело нагруженной телегой, переезжавшей теперь через полотно железной дороги. Колеса зацепились за рельсы, и возчик подгонял лошадей кнутом, а Флора покрикивала на них.

– Беда, если бы поблизости оказался теперь поезд, – заметил машинист. – Все разлетелось бы вдребезги, черт возьми.

– Ничего, – сказала Фази, – Флора иной раз бывает какая-то чудная, но она знает свое дело и смотрит в оба... Слава богу, вот уже целых пять лет, как у нас не было ни одного несчастного случая. Перед тем здесь на переезде раздавило человека. При нас только и было раз, что под поезд попала корова, поезд чуть не сошел с рельсов. А корову жалко. Туловище осталось здесь, а голова оказалась вон там, около туннеля... Да, на Флору можно вполне положиться.

Телега проехала, и стук ее колес в глубокой колее доносился уже издалека. Тетка Фази вернулась к постоянно занимавшему ее вопросу – о чужом и собственном здоровье.

– Ну, а ты как теперь поживаешь? Совсем у тебя прошла болезнь, которой, помнишь, ты у нас хворал? Еще доктор никак не мог сообразить, что это с тобой было...

В глазах Жака мелькнула тревога.

– Я совершенно здоров, крестная, – ответил он.

– Право? Значит, все прошло? Помнишь, как ты, бывало, мучился от головной боли за ушами, как тебя вдруг начинала трепать лихорадка; а то еще, бывало, сделаешься такой грустный и хоронишься от людей, как дикий зверь.

Слушая ее слова, Жак смущался все больше и больше и, наконец, почувствовал себя до того неловко, что прервал ее резким, отрывистым голосом:

– Уверяю вас, я совершенно здоров... У меня теперь решительно ничего нет.

– Тем лучше, мой мальчик!.. Ведь мне-то от твоей болезни легче не станет. Да и потом, в твоём возрасте хворать не полагается. Что может быть лучше здоровья?.. А знаешь, право, славно, что ты навестил меня; ведь ты мог гораздо веселей провести время в другом месте. Ты пообедай с нами, а спать мы тебя положим на чердаке, рядом с комнатой Флоры...

Рожок, протрубивший сигнал, снова перебил ее речь. Тем временем уже стемнело. Повернувшись к окну, они лишь неясно различали Мизара, беседовавшего с каким-то мужчиной. Пробило шесть часов, и он передавал свой пост ночному дежурному, явившемуся на смену. Мизар мог наконец свободно вздохнуть после двенадцати часов, проведенных в будке, где с трудом умещались маленький столик, установленный под доской с сигнализацией, табурет и железная печка, до того накалявшаяся, что Мизар почти постоянно держал дверь открытой.

– Вот он уже возвращается домой, – проговорила вполголоса тетка Фази, снова объятая страхом.

Поезд, о котором предупреждал рожок Мизара, приближался. Это был очень тяжелый и длинный поезд, громылавший так сильно, что молодому человеку пришлось наклониться к больной, чтобы она могла его расслышать. Он был тронут ее несчастьем, ему хотелось чем-нибудь помочь ей.

– Послушайте, крестная, – сказал он, – если Мизар в самом деле что-то замышляет, может быть, он струсит, когда я вмешаюсь... Доверьте мне вашу тысячу франков.

Она снова возмутилась:

– Отдать тысячу франков?.. Ни за что! Ни тебе, ни ему!.. Лучше умру, а не отдам!

В это мгновение мимо промчался поезд, словно бурный вихрь, сметающий все перед собою. Дом задрожал, точно подхваченный ураганом. Поезд этот, шедший в Гавр, был переполнен пассажирами, так как на следующий день, в воскресенье, предполагалось праздновать в Гавре спуск на воду большого корабля. Несмотря на скорость, с которой мчался поезд, через освещенные окна вагонов можно было видеть переполненные отделения, тесно сомкнутые ряды голов, мелькавшие профили, мгновенно исчезающие, сменявшие друг друга. Что за уйма народа! Опять толпа, бесконечная толпа, беспрестанно грохот вагонов, паровозные свистки,

телеграфные звонки и колокольные сигналы! Точно огромное тело гигантского существа растянулось по земле: его голова была в Париже, позвонки – вдоль всей главной линии, члены простирались на боковых линиях, а руки и ноги – в Гавре и на других конечных станциях. Все это мчалось безостановочно, механически, победоносно, с математической точностью уносились в будущее, умышленно игнорируя человека с его затаенными, но вечно живыми стимулами – страстью и преступлением.

Флора вернулась домой первая. Она зажгла маленькую керосиновую лампочку без колпака и накрыла на стол. Она не сказала Жаку ни слова и едва удостоила его взглядом, а он отвернулся к окну. На печке стоял горшок с горячим супом. Когда Флора подавала его на стол, вошел Мизар. Он не обнаружил никакого удивления при встрече с молодым человеком. Быть может, он видел, как Жак подходил к дому. Во всяком случае, он не выказал ни малейшего любопытства и не стал ни о чем расспрашивать. Они пожали друг другу руки и обменялись несколькими короткими фразами. Жаку пришлось самому завести разговор о поломке шатуна и о том, что ему пришла мысль повидаться с крестной матерью и переночевать у нее. Мизар только кивал головой, как бы находя, что все прекрасно. Усевшись за стол, принялись, не торопясь, обедать. Первое время все молчали. Тетка Фази, с утра не спускавшая глаз с горшка, в котором варился суп, согласилась налить себе тарелку; но до железистой воды, настоенной на гвоздях, которую подал ей Мизар, – Флора забыла поставить графин на стол – она не дотронулась. Мизар держал себя тише воды, ниже травы и только время от времени покашливал нехорошим, болезненным кашлем. Он, казалось, не замечал тревожных взглядов жены, следившей за каждым его движением. Когда Фази спросила соли, которой не было на столе, он сказал, что ей не следует есть так много соленого, ей может сделаться от этого только хуже, но все же принес ей в ложке щепотку. Фази взяла ее, так как соль, по ее мнению, все очищает. Разговор за обедом шел о погоде, удивительно теплой последние дни, о поезде, сошедшем с рельсов около Мароммы. Жак решил, что у его крестной матери просто расстроено воображение, – сам он не замечал ровно ничего подозрительного в этом маленьком услужливом человечке с бегающими глазками. За столом просидели больше часа. За это время Флора по сигналу рожка дважды выходила на минутку к шлагбауму. Каждый раз, когда мимо проходили поезда, стаканы на столе подпрыгивали и звенели, но никто не обращал на это внимания.

Опять раздался звук рожка, Флора, только что убравшая со стола, снова вышла, но больше не вернулась. Она оставила мать и обоих мужчин за столом, на котором стояла бутылка яблочной настойки. Они просидели за столом еще с полчаса, а затем Мизар, обшаривший своими пронырливыми глазками один из углов комнаты, взял фуражку и, коротко простившись, вышел. Он ловил тайком рыбу в соседних ручьях, – где водились великолепные угри, и никогда не ложился спать, не осмотрев предварительно своих удочек.

Тотчас по его уходе тетка Фази пристально взглянула на своего крестника.

– Ну что, теперь ты убедился? Видел ты, как он поглядывал в тот угол?.. Он вообразил, что я спрятала свои деньги там, за кувшином с маслом. Я его знаю, я уверена, что нынешней ночью он непременно будет рыться в углу, нет ли там моих денег.

У нее выступил пот, лихорадочная дрожь пробежала по телу.

– Посмотри-ка, мне опять стало хуже, – заметила тетка Фази. – Он, наверное, поднес мне что-нибудь. У меня так горько во рту, точно я проглотила старую ржавую монету. А ведь я ничего не ела из его рук... Нет, видно уж, не убережешься... Мне сейчас, к вечеру, очень плохо стало. Лучше я лягу. Прощай, сынок. Если ты уедешь с поездом двадцать шесть минут восьмого, мы с тобой не увидимся, потому что я не смогу так рано встать. Заверни к нам еще как-нибудь, может быть, ты еще застанешь меня в живых...

Жак помог крестной дойти до ее комнаты. Она легла в постель и заснула. Оставшись один, он с минуту раздумывал, не пойти ли ему на чердак и лечь на постланной там охапке сена. Но было всего без десяти восемь: он еще успеет выспаться. И, в свою очередь, он вышел



из дому, оставив на столе зажженную керосиновую лампочку. Пустой дом погрузился в сон, и лишь время от времени его потрясал грохот мчавшихся мимо поездов.

Выйдя из дому, Жак подивился влажной теплоте воздуха. Должно быть, снова пойдет дождь. На небе расстиралась громадная туча молочно-белого цвета. Скрывшаяся за нею полная луна освещала весь небосклон красноватым отблеском. Можно было ясно различить окрестную местность, холмы, лощины и деревья, которые выступали черными силуэтами в ровном, мертвенном свете, напоминавшем мягкий свет ночника. Жак обошел маленький огород, а потом решил пойти в сторону Дуанвиля, так как подъем там был не очень крутой. Но, взглянув на уединенный дом, расположенный наискось по ту сторону полотна, он изменил свое намерение. Шлагбаум был опущен и заперт на ключ уже на ночь; Жак прошел в калитку на переезде и перебрался на другую сторону дороги. Дом этот был ему хорошо знаком. Он видел его каждый раз, как проезжал мимо на своем грохочущем и качающемся паровозе. Он сам не знал, почему дом привлекал его внимание, но ему смутно представлялось, что этому дому суждено сыграть важную роль в его жизни.

Подъезжая к дому, молодой машинист испытывал всегда тревожное опасение, что его не окажется на обычном месте. Вслед за тем опасение это сменялось каким-то неприятным чувством, когда он убеждался, что дом по-прежнему стоит там. Никогда он не видел, чтобы окна и двери дома были открыты.

Ему было известно только, что дом принадлежал бывшему председателю руанского суда Гранморену, и сейчас он почувствовал непреодолимое желание обстоятельнее ознакомиться с этим домом и осмотреть его, по крайней мере, снаружи.

Жак долго стоял на дороге у решетки. Он подавался назад и поднимался на цыпочки, чтобы лучше разглядеть заброшенный дом. Сад был перерезан железной дорогой, и перед домом остался лишь маленький палисадник с каменной оградой, а с другой стороны к дому прилегал довольно обширный участок земли, обнесенный живой изгородью. В красноватом освещении пасмурной туманной ночи покинутый дом казался унылым и угрюмым. У молодого машиниста мороз пробежал по коже. Он хотел уже отойти, когда заметил в живой изгороди отверстие. Ему казалось, что было бы трусостью не взглянуть на дом поближе, и он пролез в отверстие. Сердце его сильно билось. Проходя мимо маленькой, развалившейся оранжереи, он увидел, что кто-то сидит на корточках у дверей.

– Как, это ты! – воскликнул Жак с удивлением, узнав Флору.

Она вздрогнула от неожиданности, но затем спокойно ответила:

– Видишь, запасаясь веревками. Они оставили тут целую кучу веревок, которые гниют без всякой пользы, а мне они постоянно нужны. Я и хожу за ними сюда...

Сидя на земле, она старалась распутать веревки; если ей не удавалось развязать какой-нибудь узел, она перерезала его большими ножницами.

– Хозяин дома сюда, значит, не навещается? – осведомился молодой человек.

Флора засмеялась.

– После истории с Луизеттой Гранморен ни за что не решится и носа показать в Круаде-Мофра. Я могу спокойно забрать его веревки.

Он с минуту помолчал, смущенный мыслью о трагическом приключении, которое она ему напомнила.

– Ты, значит, веришь тому, что рассказывала Луизетта? Ты веришь, что он действительно хотел овладеть ею и что она расшиблась, отбиваясь от него?

Флора перестала смеяться и резко возразила негодующим тоном.

– Луизетта никогда не лгала... И Кабюш тоже... Кабюш – мой приятель...

– А может быть, любовник?

– Он-то! Да я была бы последней дрянью, если бы... Нет, нет, мы с ним только приятели. Любовников у меня нет. Я не хочу ими обзаводиться.

Она подняла свою мощную голову, обрамленную густым руном светло-русых волос, спускавшихся низко на лоб. Вся ее крепкая и гибкая фигура дышала какой-то дикой силой и решимостью. В околотке о ней уже складывались легенды. Рассказывали чудеса о ее подвигах: одним махом она стащила с полотна застрявшую между рельсами телегу, когда поезд уже был готов налететь на нее; остановила вагон, мчавшийся, как дикое животное, под уклон с Барантенской станции, навстречу приближавшемуся на всех парах экспрессу. Подвиги эти возбуждали у мужчин удивление и желание сделать девушку своей любовницей. Сначала молодые парни думали, что овладеть ею будет нетрудно; улучив свободную минуту, она бродила по полям и, отыскав укромное местечко, лежала там молча и неподвижно, глядя в небо. Но те, кто пробовал к ней приставать, здорово поплатились, и у них отпала охота возобновлять свои попытки. Флора любила купаться по целым часам в соседнем ручье. Молодые парни – ее сверстники – вздумали раз подсмотреть, как она купается; но молодая девушка, не дав себе даже труда одеться, так отделала одного из них, что никто уже больше не решался подсматривать за ней. Ходили также слухи об ее истории со стрелочником на диеспской ветке, по ту сторону туннеля. Она, по-видимому, одно время слегка поощряла этого стрелочника – Озиля, честного малого лет тридцати. Однажды вечером он вообразил, что она готова отдаться ему, и попытался овладеть ею, но Флора чуть не убила его здоровенным ударом увесистой дубинки. Это была воинственная девственница, сторонившаяся мужчин. Оттого-то, быть может, и подозревали, что голова у нее не совсем в порядке.

Жак продолжал подшучивать над Флорой:

– Значит, твое замужество с Озилем не ладится? А я слышал, будто ты каждый день бегала к нему на свидание через весь туннель...

Она пожала плечами.

– Очень надо мне идти за него замуж... Вот туннель я люблю: уж очень любопытно иной раз пробежать два с половиною километра в темноте; ведь только недосмотришь, мигом попадешь под поезд. Да и поезда пыхтят там как-то особенно! Ну, а Озиль только надоедает мне. Этот мне не нужен.

– Значит, кто-нибудь да нужен, как-никак.

– Почему я знаю... Да нет!

Она снова рассмеялась, но все-таки немного смутилась и старательно занялась узлом, который никак не могла распутать. Затем, не поднимая головы, как будто совершенно погрузившись в свою работу, она, в свою очередь, осведомилась:

– Ну, а ты все еще никем не обзавелся?

Жак перестал смеяться. Он отвернулся и вперил неподвижный взор в ночной мрак.

– Нет! – ответил он отрывисто.

– Ну, так и есть... Мне рассказывали, что ты ненавидишь женщин. Да и я сама не первый день тебя знаю, а никогда от тебя ни одного ласкового слова не слыхала... Почему это?

Так как он молчал, Флора бросила веревки и решила взглянуть на него.

– Неужели ты и впрямь любишь только свой паровоз? Знаешь, над тобой даже смеются. Говорят, будто ты по целым дням чистишь и протираешь машину, словно тебе и приласкать больше некого. Говорю тебе это по-дружески.

Теперь он тоже смотрел на нее; он припомнил ее совсем маленькой девочкой. Она и тогда была капризным и вспыльчивым ребенком, но каждый раз, когда он приезжал, эта маленькая дикарка бросалась к нему на шею в страстном порыве. Впоследствии они подолгу не виделись, и при каждой новой встрече он замечал, как она выросла, повзрослела, но она по-прежнему бросалась ему на шею, смущая его огнем своих больших светлых глаз. Теперь она расцвела, стала обольстительной женщиной, и, без сомнения, она любит его, любит с детства. Сердце его забилося сильнее. Ему вдруг стало ясно, что он и есть тот, кого она ждала. Кровь бросилась ему в голову, и вместе с тем им овладело необычайное смущение. Первым его движением было

бежать куда глаза глядят, чтобы спастись от охватившего его внезапно томления. Близость женщины всегда сводила его с ума, он переставал владеть собой.

– Что же ты стоишь? – продолжала она. – Садись...

Жак колебался, но почувствовал вдруг страшную слабость; побежденный желанием, он тяжело опустился возле девушки на грудь веревок. Он молчал, у него пересохло в горле, а Флора, всегда гордая и молчаливая, Флора теперь оживленно болтала без умолку, стараясь побороть свое смущение:

– Видишь ли, мать сделала ошибку, выйдя замуж за Мизара. Она дорого за это поплатится. Мое дело сторона, тем более, что всякий раз, как я хочу вмешаться в их ссору, мама отсылает меня спать. Пусть же разделяется с ним сама. Я и дома-то почти не бываю. Я думаю о разных вещах... Что будет дальше... Знаешь, я видела тебя сегодня утром на твоём паровозе! Я сидела вон там, в кустах. Ты, конечно, даже не взглянул в мою сторону... А я охотно рассказала бы тебе, о чем я думаю, но только не теперь, а когда мы станем с тобой настоящими друзьями...

Она уронила ножницы. Он безмолвно взял ее руки в свои. Она не отняла их... Но когда он поднес их к своим пылающим губам, целомудрие ее возмутилось. При первом прикосновении самца пробудилась воительница, упрямая, неукротимая.

– Нет, нет, оставь меня... Я не хочу... Сиди спокойно, будем разговаривать... Почему мужчины только об этом и думают! Ах, если передать тебе все, что рассказывала мне Луизетта перед смертью... Хотя я и без того уже многое знала об этом Гранморене. Я видела, какие пакости устраивал он здесь, когда приводил сюда девушек. Одну он выдал потом замуж... никто даже и не подозревает, что с ней произошло.

Жак не слышал ее. Он грубо схватил девушку в объятия и впился губами в ее губы. У Флоры вырвался легкий крик, задушевная, кроткая жалоба, в которой изливалась вся сила ее чувства, так долго остававшегося скрытым... Но она боролась с Жаком, инстинктивно отталкивая его, она желала его и в то же время не давалась ему; ей хотелось быть покоренной. Молча, грудь с грудью, задыхаясь, они старались повалить друг друга. Минуту казалось, что сила на ее стороне; быть может, она и повалила бы его – так велико было его возбуждение, – но он схватил ее за горло. Кофточка порвалась, обнажились груди, упругие, напряженные в борьбе; в бледном сумраке они казались молочно-белыми. Флора упала на спину и, побежденная, готова была отдаться. Но Жак вдруг остановился, задыхаясь. Казалось, им овладело кровожадное бешенство, он стал искать глазами какое-нибудь оружие, камень – что-нибудь, чем он мог бы убить. Взгляд его остановился на ножницах, сверкавших между связками веревок. Он схватил их и собирался уже вонзить в обнаженную грудь Флоры, но вдруг очнулся, ощутив во всем теле страшный холод, бросил ножницы и убежал совершенно растерянный, а Флора лежала с закрытыми глазами, она думала, что его рассердило ее упрямство.

Жак бежал во мраке утрюмой ночи. Быстро взобравшись по тропинке на вершину холма, он спустился в узкую долину. Камни, срывавшиеся под его ногами, пугали его, он бросился влево, в заросли, и, сделав крюк, снова очутился в правой стороне, на обнаженной площадке другого холма. Он сбежал оттуда вниз и наткнулся на изгородь у полотна железной дороги. Пыхтя и сверкая фонарями, подходил поезд. Жак испугался, ошеломленный, растерянный, но потом понял: это все та же безостановочно несущаяся волна пассажиров, которой нет никакого дела до его смертельной муки. Он опять пустился бежать, взбирался на холмы, снова спускался вниз. Он постоянно наталкивался теперь на полотно железной дороги, то внизу, в глубоких выемках, казавшихся в ночном мраке бездонными пропастями, то наверху, на насыпях, закрывавших горизонт, словно колоссальные баррикады. Унылая, пустынная невозделанная земля, прорезанная холмами и долинами, казалась безвыходным мрачным лабиринтом, и Жак метался в своем безумии среди этого лабиринта. Несколько минут он бежал вниз по склону холма и вдруг увидел перед собою черное отверстие, зияющую пасть туннеля. Поезд со

свистом и грохотом влетел в эту пасть и пропал там, и далеко кругом после его исчезновения дрожала земля. Ноги у Жака подкосились, он упал на откос насыпи и, уткнувшись лицом в траву, разразился судорожными рыданиями. Боже! К нему вернулась его ужасная болезнь. А ему-то казалось, что он окончательно вылечился. Ведь он только что хотел убить эту девушку. С юношеских лет у него постоянно раздавалось в ушах: «Убей, убей женщину!» – и тогда его охватывало безумное, все возраставшее, чувственное влечение. Другие юноши с наступлением зрелости мечтают об обладании женщиной, он же всецело был поглощен желанием убить женщину. Он себя не обманывал. Он знал, что схватил ножницы с намерением вонзить их Флоре в тело, как только увидит ее тело, ее белую, трепещущую грудь. Он сделал это не в раздражении, вызванном борьбой, нет, а только ради наслаждения. Желание убить было настолько сильно, что, не вцепись он сейчас руками в траву, он вернулся бы туда бегом и зарезал бы девушку. Как, убить ее, Флору, выросшую на его глазах, эту девочку-дикарку, которая – он понял это – любит его глубоко и страстно! «Что же со мной делается, боже мой?» – думал он, судорожно вбиваясь пальцами в землю. Рыдания, вырвавшиеся у него в порыве безнадежного отчаяния, раздирали ему грудь.

Но он попытался успокоиться и уяснить себе свое положение. В чем же разница между ним и другими молодыми людьми, его сверстниками? Еще в ранней молодости, там, в Плассане, он зачастую задавал себе этот вопрос. Правда, мать его, Жервеза, родила его очень рано, в пятнадцать с половиной лет, но он был уже вторым ее ребенком, а ее первенец, Клод, родился, когда ей еще не было четырнадцати. Между тем на его братьях – Клоде и младшем – Этьене, – по-видимому, никак не сказалось, что их мать была еще девчонкой, а отец – немножко старше ее. Отец его был очень хорош собою, его прозвали красавцем Лантье, но сердце у него было недоброе, и Жервеза немало поплакала из-за него. Быть может, впрочем, и у братьев его была какая-нибудь душевная болезнь, в которой они не сознавались. В особенности можно было заподозрить в этом старшего брата, который во что бы то ни стало хотел сделаться великим художником и работал с таким бешеным увлечением, что при всей его даровитости многие считали его полупомешанным. Вообще семья Лантье не отличалась уравновешенностью: ненормальности встречались у многих ее членов. Жак по временам замечал в себе эту наследственную ненормальность. Он не мог пожаловаться на плохое физическое здоровье; если одно время он худел, то причиной тому были только опасения и стыд, вызванные душевною болезнью. Во время этих кризисов он внезапно терял психическое равновесие, его внутреннее «я» как бы проваливалось в бездну, обволакивалось каким-то туманом, искажавшим все окружающее. В такие минуты он не принадлежал себе, находился во власти только своей мускульной силы, сидевшего в нем бешеного зверя. Однако он не пил. Он не позволял себе выпить и рюмки водки после того, как заметил, что самое ничтожное количество алкоголя может вызвать у него подобный припадок. Он приходил к убеждению, что расплачивается теперь за других, за отцов и дедов – пьяниц, за целые поколения алкоголиков, передавших ему свою испорченную кровь. Под влиянием этой медленной отравы он приходил по временам в состояние первобытной дикости лесного человека-зверя, умерщвляющего женщин.

Жак размышлял, приподнявшись на локте, глядя на зияющую черную пасть туннеля. У него снова вырвались рыдания. Он бился головою о землю и плакал от невыносимой муки. Он хотел убить девушку! Эта ужасная мысль с острой болью проникала в его сознание, точно ножницы, которыми он хотел убить, вонзались в его собственное тело. Никакие рассуждения не могли его успокоить. Он хотел ее убить и убил бы, если бы она сидела теперь перед ним с расстегнутым лифом и обнаженной шеей. Он вспомнил, что первый приступ этой душевной болезни случился у него, когда ему едва минуло шестнадцать лет. Однажды вечером он играл с девочкой, дочерью одного родственника, которая была года на два моложе его. Она споткнулась и упала, а он, увидя ее голые ноги, в неистовстве накинулся на нее. Год спустя, вспоминал Жак, он наточил нож с намерением вонзить его в шею другой девушки, маленькой блондинки,

проходившей каждое утро мимо дома, в котором он жил. У этой девушки была полненькая, розовая шейка, и он как сейчас видел коричневое родимое пятнышко, куда ему страшно хотелось всадить нож. Потом он испытывал подобное же чувство по отношению ко многим другим девушкам. Перед ним прошел целый ряд кошмарных видений; ему вспомнились все женщины и девушки, которых коснулось внезапно просыпавшееся в нем страстное стремление к убийству, – женщины, встреченные на улице или случайно оказавшиеся его соседками. Особенно памятна была ему одна из них, новобрачная; она сидела возле него в театре и очень громко смеялась. Он вынужден был бежать из театра, не дождавшись конца представления, иначе он распорол бы ей живот. Он не знал этих женщин и девушек. Чем же объяснить его ярость? Каждый раз им овладевало какое-то слепое бешенство. У него являлось непреодолимое стремление отомстить за давнишние обиды, ясное воспоминание о которых уже утратилось. Быть может, это был протест против зла, причиненного женщинами его предкам, или проявление инстинктивной ожесточенной злобы, веками накапливавшейся у мужчин со времени первого обмана, жертвой которого был доисторический пещерный житель. Во время припадка Жак ощущал потребность овладеть женщиной в борьбе, покорить ее, испытывал извращенное желание умертвить ее и взвалить себе на спину, как отнятую у других добычу. Голова его трещала от напряжения, он не мог разобраться в своем состоянии. Он считал себя слишком нежестоким; мозг его цепенел; он испытывал тоску, какую испытывает человек, совершающий поступки помимо своей воли, внутренняя причина которых ему непонятна.

Еще один поезд промчался, сверкнув, как молния, своими огнями, и затем исчез в глубине туннеля с грохотом, постепенно замиравшим вдаль. Жак невольно встал и, сдерживая рыдания, старался принять спокойный вид, словно опасаясь, что торопливо мчавшаяся мимо чужая, равнодушная толпа услышит его и обратит на него внимание. Не раз после припадков, точно мучимый нечистой совестью, он пугался малейшего шума. Он чувствовал себя спокойным и счастливым, лишь уединившись от всего света, на своем паровозе, уносившем его в бешеном беге. Когда, положив руку на регулятор, Жак внимательно следил за состоянием пути и за сигналами участковых сторожей и стрелочников, он ни о чем больше не думал и глубоко вдыхал чистый воздух, бурным ветром бивший ему в лицо. Поэтому-то он и любил свою машину, как любят нежную, добрую, преданную женщину, способную дать человеку счастье. По выходе из технического училища Жак, несмотря на свои прекрасные способности, избрал работу машиниста именно потому, что она предоставляла ему желанное одиночество и вместе с тем целиком поглощала его. Он не был честолюбцем и вполне довольствовался нынешним своим местом. Через четыре года по выходе из училища он работал уже машинистом первого класса на жалованье в две тысячи восемьсот франков, что вместе с премиями за экономию в топливе и смазочном материале давало ему ежегодно более четырех тысяч франков. А большего он и не добивался. Почти все его товарищи, машинисты третьего и второго классов, выслужившиеся на железной дороге из мастеров, женились на работницах – невзрачных, незаметных женщинах; их жены появлялись иногда перед отправлением поезда и приносили мужьям корзинки с провизией на дорогу. Более честолюбивые машинисты, особенно из числа окончивших техническое учебное заведение, оставались холостяками, в ожидании, когда их назначат на должность начальника депо, рассчитывая тогда приискать себе невесту из среднего класса, девушку воспитанную и с приданым. Что касается Жака, он сторонился женщин и решил умереть холостяком. Он ничего не видел перед собой в будущем, кроме вечной и безостановочной езды на паровозе, в этом спасительном для него одиночестве. Начальство всегда отзывалось о нем, как о примерном машинисте, который не пьянствует и не кутит. Товарищи иногда подтрунивали над Жаком и называли его красной девицей. Некоторых, более близких к нему товарищей смутно тревожили находившие на него по временам припадков грусти, когда он молча сидел по целым часам бледный, как смерть, с померкшими глазами. Жак проводил почти все свободное время в своей маленькой комнатке на улице Кардине, откуда видно было

батиньольское депо, при котором числился его паровоз. Он запирался там, словно монах в келье, стараясь как можно больше спать, чтобы преодолеть мучившие его бурные желания.

Жак сделал над собой усилие, встал; он не понимал, чего ради лежал до сих пор на траве: ночь была сырая, туманная. Все кругом было погружено во мрак, и только небо, подернутое дымкой, светилось, словно громадный купол из матового стекла, освещенный тусклым желтоватым сиянием скрывшейся за туманом луны; черный горизонт спал в мертвенной неподвижности. Вероятно, было уже около девяти часов вечера. Благоразумнее всего вернуться и лечь спать. Но Жаку вдруг представилось, как он возвращается к Мизарам, взбирается по лестнице на чердак и ложится спать на сене рядом с комнаткой Флоры, отделявшейся от чердака простой дощатой перегородкой. Она теперь там, в своей комнатке; он слышит ее дыхание, знает, что она никогда не запирает дверей; он беспрепятственно может войти к ней. Дрожь пробежала у него по телу. Он видел ее раздетой, раскинувшейся на постели, чувствовал тепло ее тела. У него вырвалось судорожное болезненное рыдание, как подкошенный упал он на землю. Боже мой, он хотел ее убить, убить! Он задыхался и мучился в смертельной тоске при мысли, что если вернется, то непременно войдет к ней в комнату и убьет ее тут же, в постели. Пусть при нем не будет никакого оружия, пусть он соберет все силы, чтобы подавить в себе преступное влечение: он чувствовал, что сидящий в нем зверь, помимо его воли, прокрадется в комнату девушки и задушит ее, побежденный роковым, бессознательным инстинктом. Нет, лучше провести всю ночь где-нибудь в поле, чем возвращаться туда! Он порывисто вскочил и бросился бежать.

С полчаса еще носился он в темноте, словно за ним с неистовым лаем гналась стая бешеных собак. Он то взбирался на холмы, то спускался в узкие лощины. Дважды пересекали ему дорогу ручьи; он перешел их вброд, по пояс в воде. Кустарник преградил ему путь, это привело его в отчаяние. Его единственной мыслью было уйти как можно дальше, бежать от самого себя, от бешеного зверя, которого он в себе чувствовал. Но все усилия его оставались тщетными: зверь сидел в нем, и он не мог от него отделаться. В течение целых семи месяцев Жак надеялся, что окончательно от него избавился. Он стал жить, как все, и вот теперь приходилось начинать все сызнова. Он опять должен будет делать над собою нечеловеческие усилия, чтобы не броситься на первую женщину, с которой случайно встретится. Царствовавшая кругом мертвая тишина и одиночество немного успокоили Жака; они навевали на него мечты о жизни такой же безмолвной, уединенной, как эта безотрадная пустыня, где он мог бы идти, идти без конца, не встречая ни одной души. Жак, сам того не замечая, изменил направление: описав большой полукруг по склонам холмов, поросших кустарником, он снова вышел к полотну железной дороги, по другую сторону туннеля. И тотчас же повернул назад: тревога и ярость гнали его прочь от людей. Он хотел пройти напрямик позади холма, но заблудился и очутился опять у самого полотна дороги, как раз при выходе из туннеля, возле луга, где рыдал только что в таком отчаянии. Выбившись из сил, он стоял, не двигаясь. Послышался сперва отдаленный, а затем постепенно усиливавшийся грохот поезда, который, казалось, стремился вырваться из недр земли на простор. Это был гаврский курьерский поезд, вышедший из Парижа в половине седьмого и проходивший через туннель двадцать минут десятого. Жак хорошо знал этот поезд, так как ездил с ним через два дня на третий.

Он увидел сначала, как осветилось мрачное отверстие туннеля, словно устье печи, когда в ней загорается растопка. С громом и стуком вылетел из туннеля паровоз, ослепительно сверкая, словно большим круглым глазом, передним фонарем; яркий свет, пронизывая окружающий мрак, освещал на далекое расстояние стальные рельсы, мелькавшие двойной огненной полосой. Паровоз промчался с быстротой молнии, мелькнули один за другим вагоны. Сквозь стекла ярко освещенных окон виднелись отделения, переполненные пассажирами, проносившиеся с такой невообразимой быстротой, что в глазах рябило, и поневоле можно было сомневаться в реальности этих мимолетных впечатлений. Жак в течение десятой доли секунды отчетливо видел сквозь ярко освещенные стекла купе первого класса мужчину, который, опрокинув

другого пассажира на скамью, всадил ему в горло нож; какая-то черная масса, – быть может, третье действующее лицо этой драмы или же просто-напросто сброшенный со скамьи багаж – навалилась всей тяжестью на корчившиеся в судорогах ноги зарезанного. Поезд промчался и скрылся по направлению к Круа-де-Моффра; во мраке был виден лишь красный треугольник – три фонаря на последнем вагоне.

Словно пригвожденный к месту, глядел Жак вслед поезду, грохот которого постепенно смолкал, замирая в мертвой тишине полей. Неужели ему довелось быть очевидцем убийства? Он не решался верить собственным глазам и сомневался в действительности этого видения, промелькнувшего мимо него, как молния. В его памяти не запечатлелось ни одной черты действующих лиц этой драмы. Темная масса, должно быть, была дорожным одеялом, упавшим поперек тела жертвы. Однако ему сначала показалось, будто он различил мелькнувший на мгновение под распутившимися густыми волосами тонкий, бледный женский профиль. Но все эти впечатления как-то сливались и исчезали, точно во сне. Сделав над собою усилие, он попытался хоть на минуту воскресить их в своей памяти, но промелькнувший профиль уже стусеивался окончательно. Очевидно, это была только игра воображения. Странное видение до такой степени пугало молодого человека и казалось ему таким необычайным, что под конец он принял все за галлюцинацию, вызванную ужасным припадком, который он только что перенес.

Еще целый час бродил Жак по полям. Голова его отяжелела от роившихся в ней смутных мыслей, он чувствовал себя усталым и разбитым. Лихорадочное возбуждение под конец улеглось, теперь его охватило ощущение какого-то внутреннего холода. Он сам не знал, как он вернулся в Круа-де-Моффра. Очутившись перед домом железнодорожного сторожа, он мысленно дал себе обещание не входить туда, а переночевать под навесом у дома. Но из-под дверей пробивалась полоса света. Жак машинально отворил дверь и остановился на пороге, пораженный неожиданным зрелищем.

Мизар отодвинул стоявший в углу кувшин с маслом и, поставив возле себя зажженный фонарь, ползал по полу на четвереньках, выстукивая стену кулаком. Скрип растворившейся двери заставил его подняться. Он, однако, нимало не смутился и сказал Жаку совершенно естественным тоном:

– Спички рассыпались...

Поставив кувшин на прежнее место, он прибавил:

– Я пришел за фонарем. Когда я возвращался домой, кто-то валялся на рельсах... Помоему, мертвец.

У Жака мелькнула мысль, что он застал Мизара на месте преступления: Мизар разыскивал деньги тетки Фази. Все прежние сомнения Жака сразу рассеялись: он понял, что его крестная справедливо обвиняла Мизара. Но Жак был до такой степени потрясен известием о находке трупа, что совершенно забыл о другой драме, которая разыгрывалась здесь, в этом маленьком уединенном домике. Сцена в купе – краткое мимолетное видение человека, убивающего другого, – внезапно встала в его памяти, словно освещенная молнией.

– Мертвец на рельсах? Где же это? – спросил Жак, бледнея.

Мизар собирался было рассказать, что нес домой двух попавшихся ему на удочку угрей и прежде всего хотел припрятать незаконно пойманную рыбу; однако он раздумал: с какой стати откровенничать с этим парнем? Он сделал неопределенный жест и ответил:

– Вон там, метрах в пятистах отсюда. Надо поглядеть на него с фонарем, тогда узнаем, в чем дело.

В это мгновение Жак услышал у себя над головой глухой стук. Он невольно вздрогнул.

– Что это? – спросил он.

– Ничего особенного. Должно быть, Флора возится наверху, – объяснил Мизар.

Послышалось шлепанье босых ног; Флора, очевидно, поджидала Жака и теперь прислушивалась, о чем он говорит с ее отчимом.

– Я пойду с вами, – продолжал Жак. – А вы уверены, что он действительно мертвый?

– Кто его знает! Возьмем фонарь, тогда увидим.

– Что ж это, по-вашему, несчастный случай?

– Может быть, и так. Наверное сказать этого нельзя... Какой-нибудь молодчик бросился под поезд, или пассажир выскочил из вагона...

Жака трясло, как в лихорадке.

– Идемте скорей! Скорей! – кричал он.

Никогда еще не испытывал он такого лихорадочного нетерпения поскорей увидеть все собственными глазами, все узнать. Мизар неторопливо шел по полотну, раскачивая фонарь, который отбрасывал светлое пятно, медленно скользившее вдоль рельсов, а Жак, возмущенный его медлительностью, бежал вперед, точно подгоняемый тем внутренним огнем, который заставляет влюбленных спешить на свидание. Он боялся того, что ждало его там, и в то же время стремился туда всем своим существом. Когда Жак добежал наконец до места, он чуть не споткнулся о какую-то черную массу, лежавшую вдоль рельсов; он остановился как вкопанный, с головы до ног его охватила дрожь. Его томило мучительное желание разглядеть, что лежало на рельсах, и он разразился бранью по адресу Мизара, отставшего шагов на тридцать.

– Поторопитесь же, наконец, черт возьми! – крикнул он. – Если он еще жив, ему можно помочь...

Мизар, раскачиваясь, невозмутимо шел вдоль рельсов. Подойдя наконец вплотную к трупу, он направил на него свет фонаря и сказал:

– Ого, да он уже совсем готов!

Человек, выскочивший или выброшенный из вагона, упал на живот и лежал вдоль пути на расстоянии всего лишь полуметра от рельсов. Он лежал ничком, видны были густые седые волосы на его голове. Ноги были раскинуты. Правая рука отброшена в сторону, точно оторванная, левая прижата к груди. Одет он был очень хорошо: широкое синее драповое пальто, ботинки прекрасной работы и дорогое тонкое белье. Никаких признаков, что его хотя бы сколько-нибудь задело поездом, заметно не было, и только воротник рубашки был залит кровью, которой очень много вытекло из горла.

– С ним, очевидно, покончили, – спокойно заявил Мизар после нескольких секунд внимательного осмотра. Затем, обращаясь к оцепеневшему от ужаса Жаку, он добавил: – Не надо его трогать. Это строгойше запрещено... Оставайтесь здесь караулить, а я побегу в Барантен доложить начальнику станции.

Он поднял фонарь и взглянул на верстовой столб.

– Как раз у сто пятьдесят третьего! Ладно.

Поставив фонарь на землю возле трупа, он ушел, переваливаясь с ноги на ногу.

Оставшись один, Жак не тронулся с места и, как окаменелый, глядел на безжизненную массу, очертания которой при мерцающем свете фонаря, стоявшего тут же, на полотне дороги, казались какими-то неопределенными.

Волнение, заставившее Жака так спешить, то таинственное, ужасное и вместе с тем чарующее, что непреодолимо притягивало его, внезапно пробудило в нем мысль, пронзившую все его существо: этот человек, которого он видел мельком с ножом в руке, осмелился дойти до конца. Он убил! Какое счастье не быть трусом и удовлетворить наконец желание, вонзив в человека нож! А сам он уже целых десять лет томится этим желанием! Мысль эта привела Жака в лихорадочное возбуждение. Он чувствовал презрение к самому себе и восхищался убийцей. У него явилась потребность видеть, неутолимое желание насытить зрение видом этой бездушной тряпки, сломанной марионетки, мешка, набитого мякиной, в который удар ножа обратил живого человека. Перед ним было то, о чем он беспрестанно упорно думал, но осуществлено это было другим. Если бы убил он сам, на земле лежал бы такой же труп. При виде зарезанной жертвы сердце Жака затрепетало, безумное сладострастие убийства охватило его. Он сделал



шаг вперед и подошел ближе к труп, подобно нервному ребенку, который хочет приучить себя к тому, что его пугает. Да, он осмелится, он тоже убьет!

Раздавшийся сзади грохот заставил Жака отскочить в сторону. Он целиком погрузился в созерцание мертвого тела и не слышал, как подошел поезд. Еще немного, и он был бы раздавлен; только жаркое дыхание пыхтевшего паровоза предупредило его об опасности. Поезд промчался, как ураган, среди стука, дыма и пламени; он был тоже переполнен пассажирами, ехавшими в Гавр на завтрашнее празднество. Какой-то ребенок, прильнув к стеклу, всматривался в окутанные мраком холмы и овраги; мелькнуло несколько мужских лиц; молодая женщина, опустив стекло, выбросила из окна бумагу, выпачканную маслом и вареньем. Поезд равнодушно мчался дальше, не обращая ни малейшего внимания на труп, который он чуть было не задел колесами. Мертвое тело, освещенное тусклым светом фонаря, так и осталось лежать ничком в угрюмой тишине ночи.

Жаку страстно захотелось взглянуть на рану убитого. Его останавливало только опасение, что если он притронется к голове мертвеца, это будет потом обнаружено. Он был теперь совершенно один с мертвым телом. По его расчетам, Мизар не мог вернуться с начальником станции ранее, чем через три четверти часа. Между тем время уходило минута за минутой. Жак думал о Мизаре. Этот плюгавый мямля обладал все-таки достаточной смелостью, чтобы хладнокровно убивать при помощи какого-то снадобья; значит, убить человека не так уж трудно? Каждый, кому придет фантазия убить, убивает. Жак подошел еще ближе к труп. Желание взглянуть на смертельную рану было настолько сильно, что вызвало какое-то жгучее, томительное ощущение. Ему хотелось посмотреть, как именно была нанесена рана, взглянуть на ее зияющее красное отверстие. Если аккуратно уложить потом голову на место, никто ничего не узнает.

Тем не менее Жак не решался выполнить свое намерение: его удерживало смутное чувство, в котором он не сознавался даже и себе самому. Ему страшно было взглянуть на кровь. Всегда страх пробуждался у него одновременно с желанием.

Если бы Жак пробыл наедине с трупом еще четверть часа, он, вероятно, решился бы осмотреть рану, но легкий шорох послышался вдруг вблизи; он вздрогнул.

Это была Флора. Она подошла к мертвому телу и тоже стала его разглядывать: ее всегда интересовали несчастные случаи. Как только под поезд попадал человек или какое-нибудь животное, она всегда являлась взглянуть на несчастную жертву. На этот раз девушка встала с постели, чтобы посмотреть на мертвое тело, о котором говорил ее отчим. Без всякого колебания нагнулась она к труп и, подняв одной рукой фонарь, другою откинула назад голову мертвеца.

– Не трогай, это запрещено! – шепотом заметил ей Жак. Но она только пожала плечами. Желтый свет фонаря падал прямо на лицо умершего, – это был старик с большим носом и широко раскрытыми глазами. Ниже подбородка зияла глубокая рана с рваными краями, как будто убийца, не довольствуясь тем, что вонзил нож, перевернул его еще в самой ране. Вся правая сторона груди была залита кровью. На левой стороне, в петлице синего драпового пальто, красная ленточка ордена Почетного легиона казалась сгустком запекшейся крови.

При взгляде на мертвеца Флора с изумлением воскликнула:

– Ба, да это старик!

Чтобы лучше разглядеть рану, Жак нагнулся над трупом, волосы его касались волос молодой девушки. Он задыхался от волнения, но не мог оторвать глаз от зияющей раны. Он бессознательно повторял:

– Старик... Старик...

– Да, старик Гранморен, председатель окружного суда!

Еще с минуту всматривалась она в бледное лицо мертвеца: его рот был искажен агонией, а глаза широко раскрыты от ужаса. Затем она выпустила из рук начавшую уже коченеть голову. Голова упала на землю, скрыв глубокую рану на шее.

– Теперь уже не станет заигрывать с молоденькими девушками, – тихо продолжала Флора. – Должно быть, ему и отплатили... Бедная моя Луизетта!.. Так ему и надо, негодяю...

Наступило молчание. Флора, поставив на землю фонарь, устремила на Жака долгий взгляд, а молодой машинист стоял неподвижно, растерянный, уничтоженный всем, что ему пришлось видеть. Мертвое тело лежало между ними. Было уже около одиннадцати часов. Смущенная сценой в Круа-де-Мофра, Флора не осмеливалась первая заговорить с Жаком; но вот послышались голоса: ее отчим возвращался с начальником станции. Она не хотела попасться им на глаза и решила наконец обратиться к Жаку:

– Ты не вернешься к нам ночевать?

Он вздрогнул и после минутной борьбы, сделав над собою отчаянное усилие, ответил:

– Нет, нет...

Она молчала, но руки у нее опустились. Словно желая вымолить прощение за свое сопротивление, она через несколько мгновений робко переспросила:

– Так, значит, ты не придешь? Мы больше не увидимся? – Голоса приближались; Флоре казалось, что Жак как будто умышленно стоит неподвижно по другую сторону мертвого тела, и она ушла, не пожав ему руки и даже не обменявшись со своим товарищем детства обычным прощальным приветом. Она исчезла во мраке, – слышно было только ее порывистое дыхание, словно она сдерживала рыдания, подступавшие к горлу.

Подошел начальник станции с Мизаром и двумя рабочими. Он также узнал мертвеца. Действительно, это был председатель окружного суда Гранморен; он всегда выходил на Барантенской станции, когда ездил в Дуанвиль к своей сестре, г-же Боннегон. Труп можно было оставить на месте, так как он не мешал движению поездов. Начальник станции приказал только накрыть его плащом, который принес с собой один из рабочих. Послали в Руан сообщить о случившемся прокурору. Нельзя было, однако, рассчитывать, что прокурор успеет прибыть в Барантен ранее пяти или шести часов утра, так как ему надлежало привезти с собою следователя, письмоводителя и врача. Поэтому начальник станции приставил к мертвому телу на ночь караульного. Возле мертвеца остался рабочий с фонарем, через несколько часов его сменит другой.

Подавленный, разбитый, Жак долго простоял неподвижно над трупом, никак не решаясь уйти на Барантенскую станцию, где бы он мог полежать под каким-нибудь навесом до отхода своего поезда, отправлявшегося в Гавр в семь двадцать утра. Мысль о том, что ждут приезда судебного следователя, так смущала его, точно он сам был соучастником убийства. Скажет ли он о том, что видел в вагоне промчавшегося мимо него курьерского поезда? Сначала Жак решил рассказать обо всем, так как лично ему, в сущности, нечего было опасаться. Наконец, это, несомненно, предписывал ему долг. Но затем он задал себе вопрос: чего ради он будет вмешиваться? Его показания окажутся совершенно бесполезными, так как он не может привести ни одного определенного факта. Сцена убийства промелькнула перед его глазами так быстро, что он не в состоянии сообщить ровно ничего даже о наружности убийцы. При таких обстоятельствах было бы безрассудно впутываться в дело, терять время и волноваться без толку. Нет, он лучше промолчит. И он наконец ушел, но дважды оборачивался, чтобы взглянуть на мертвое тело. – черный бугорок на полотне дороги в круглом желтом пятне света, отброшенного на него фонарем. Туман по-прежнему окутывал небо, спускался на пустынные, бесплодные холмы и овраги. Стало значительно холоднее. Промчалось еще несколько поездов, в том числе один очень длинный, шедший в Париж. Все они скрещивались друг с другом и с неумолимым механическим могуществом неслись к своей отдаленной цели, к будущему, не обращая ни малейшего внимания на то, что их колеса почти касались полуотрезанной головы человека, убитого другим человеком.

### III

На следующий день, в воскресенье, как только на гаврских колокольнях прозвонило пять часов утра, Рубо вышел на дебаркадер вокзала и приступил к своим служебным обязанностям. Было еще темно. Ветер, дувший с моря, усилился и разгонял туман, окутывавший холмы, которые тянутся от Сент-Адресс до Турневильского форта. В западной стороне, над морем, сквозь редящий туман, мерцали на небе последние утренние звезды. Под навесом дебаркадера все еще горели газовые фонари, свет их бледнел в холодной мгле занимавшегося утра. Станционные рабочие под руководством ночного дежурного, помощника начальника станции, составляли первый монтивильерский поезд. В этот ранний час, когда станция только пробуждалась от своего ночного оцепенения, двери вокзала были еще заперты и платформы пустынные.

Выходя из своей квартиры, расположенной во втором этаже вокзала, над пассажирскими залами, Рубо встретил жену кассира, г-жу Лебле. Она застыла посреди центрального коридора, куда открывались двери из квартир железнодорожных служащих. Уже несколько недель подряд эта особа вставала по ночам, чтобы выследить конторщицу, мадмуазель Гишон, которую подозревала в интрижке с начальником станции, г-ном Дабади. До сих пор ей, однако, не удалось решительно ничего подметить. И на этот раз она ничего не вынесла из своей рекогносцировки. Но зато она с удивлением отметила, что прекрасная Северина, которая имела обыкновение валяться в постели до девяти часов, в это утро стояла уже в столовой одетая, обутая и причесанная. Все это г-жа Лебле успела разглядеть в течение каких-нибудь трех секунд, пока Рубо отворял и затворял двери из своей квартиры в коридор. Г-жа Лебле сочла даже нужным разбудить г-на Лебле, чтобы рассказать ему про такое необыкновенное событие. Накануне супруги Лебле не ложились спать до прибытия из Парижа курьерского поезда, приходившего в Гавр пять минут двенадцатого. Они сгорали от любопытства: чем кончилась история с супрефектом. Им не удалось, однако, ничего прочесть на лице у Рубо и его жены. У обоих было обыкновенное, будничное выражение. Тщетно до самой полуночи Лебле внимательно прислушивались ко всякому шуму и шороху в квартире у своих соседей. Там было совершенно тихо и спокойно. Очевидно, Рубо и его жена тотчас же по возвращении домой легли и заснули глубоким сном. Надо полагать, их поездка не была удачной, иначе Северина ни за что не поднялась бы в такую рань. Кассир осведомился у жены, какой вид был у Северины, и г-жа Лебле рассказала ему, что г-жа Рубо стояла выпрямившись, словно аршин проглотила, и была очень бледна. Она стояла совсем неподвижно, точно лунатик. Во всяком случае, в течение дня можно будет разузнать, чем окончилась у них эта история.

Внизу Рубо встретился со своим сослуживцем Муленом, который был ночным дежурным. Сдав дежурство Рубо, Мулен еще несколько минут беседовал с ним. Прохаживаясь взад и вперед по дебаркадеру, он сообщил Рубо о разных мелких событиях, случившихся за ночь: задержали несколько бродяг, пытавшихся проникнуть в багажное отделение; троим железнодорожным рабочим пришлось сделать выговор за нарушение дисциплины; при составлении монтивильерского поезда у одного вагона сломался крюк. Рубо выслушал все это молча. Лицо его было совершенно спокойно и только немного бледнее обыкновенного, и глаза у него ввалились, по-видимому, от утомления. Когда Мулен замолчал, Рубо бросил на него вопросительный взгляд, как будто ожидая еще чего-то. Но Мулен ничего больше не сказал, и Рубо молча потупил глаза.

Прохаживаясь вдоль дебаркадера, они дошли до того места, где начиналась уже открытая платформа. По правую ее сторону находился ангар, где стояли прибывшие накануне вагоны, из которых формировались поезда, отбывавшие на следующий день. Рубо поднял голову и стал внимательно рассматривать вагон первого класса Э 293, с отдельным купе, освещенным мерцавшим пламенем газового рожка. Мулен воскликнул:

– Ах, да, чуть не забыл!..

На бледном лице Рубо выступила краска. Он быстро обернулся к своему собеседнику.

– Я чуть не забыл вам передать, – повторил Мулен, – что этот вагон надо оставить здесь. Не включайте его в состав, который отправляется сегодня в шесть сорок утра.

Рубо некоторое время помолчал, а затем осведомился совершенно естественным тоном:

– Почему же, собственно?

– Потому что заказано особое купе на вечерний курьерский поезд. Неизвестно, прибудет ли сегодня другой такой вагон, а потому на всякий случай оставим пока этот.

– Правильно, – сказал Рубо, продолжая внимательно разглядывать вагон. Но вдруг он рассердился: – Что за мерзость! И это называется уборкой... Этот вагон в таком виде, как будто его не чистили целую неделю!

– Ну, знаете, если поезд приходит позже одиннадцати часов вечера, нечего и думать, что рабочие займутся его уборкой. Хорошо еще, если осмотрят вагоны, а то вот на днях вечером забыли пассажира, – заснул на скамейке и проснулся только на следующий день.

Подавляя зевоту, Мулен объявил, что идет спать. Но, сделав несколько шагов, он неожиданно вернулся и с любопытством спросил:

– Кстати, а ваше дело с супрефектом, разумеется, окончилось благополучно?

– Да, да, очень удачная поездка, я доволен.

– Ну, тем лучше... Не забудьте, что номер двести девяносто три остается здесь.

Оставшись один на дебаркадере, Рубо медленно вернулся к монтивильерскому поезду, уже ожидавшему пассажиров. Двери пассажирских залов открылись. Показывались пассажиры: несколько охотников с собаками, два-три семейства лавочников, решивших воспользоваться воскресным днем для загородной прогулки. Вообще же пассажиров было немного. Отправив этот первый по счету дневной поезд, Рубо пришлось тотчас же составлять пассажирский поезд на Руан и Париж, отходивший из Гавра три четверти шестого. Рано утром многие железнодорожные служащие еще не выходят на работу, и помощник начальника станции должен в это время выполнять самые разнообразные обязанности. При составлении поезда он должен был осмотреть каждый вагон, который выводится из ангара, прицепляется к особой тележке и подается к дебаркадере. После того надо было зайти в пассажирский зал, наблюдать за выдачей билетов и сдачей багажа. Затем пришлось вмешаться в спор, разгоревшийся между одним железнодорожным служащим и солдатами. Продрогший, заспанный, в самом скверном расположении духа, Рубо положительно разрывался на части. Он так захлопотался, что ему некогда было думать о чем-либо другом, кроме своих служебных обязанностей. После отхода пассажирского поезда вокзал опустел, но Рубо уже спешил к будке стрелочника – проверить, все ли там в порядке, так как шел поезд прямого сообщения из Парижа, несколько запоздавший в пути. От стрелок Рубо вернулся на дебаркадер, проследил, как пассажиры, хлынувшие густой толпой из поезда, отдали свои билеты и разместились в принадлежащих разным гостиницам экипажах, ждавших возле самой решетки вокзала. Лишь тогда он перевел дух. Вокзал опустел и затих.

Ровно в шесть часов Рубо не спеша вышел из вокзала и, взглянув на небо, вздохнул полной грудью. Заря уже занималась. Ветер с берега окончательно развеял туман, наступило ясное утро, обещавшее на целый день прекрасную погоду. К северу на побледневшем небе выделялся лиловой чертой отдаленный Ингувильский холм, на котором можно было даже различить кладбищенские деревья. К югу и к западу, над морем, виднелись еще последние легкие белые облачка, медленно проплывавшие по небу, а на востоке громадное устье Сены озарялось, словно пламенем, восходящим солнцем. Рубо машинально снял свою обшитую серебряным галуном фуражку, как бы желая освежить голову прохладным, живительным ветерком. Открывшаяся перед ним привычная картина широко раскинувшихся станционных построек – слева станция прибытия, посредине паровозное депо, а справа станция отправления, – каза-

лось, успокоила его, как успокаивало однообразие обычной, повседневной работы. За стеною улицы Шарль-Лафитт дымились фабричные трубы, виднелись горы каменного угля на складах, расположенных вдоль Вобановского дока. Из других доков уже доносился шум начавшейся работы. Свистки товарных поездов и свежий запах моря напомнили ему о том, что в этот день предстояло празднество по случаю спуска на воду нового корабля. Соберется, наверно, громадная толпа; будет давка!

Вернувшись на дебаркадер, Рубо увидел, что станционные рабочие уже составляют курьерский поезд, который должен был отойти сорок минут седьмого. Ему показалось, что они прицепляют к тележке вагон Э 293. Все спокойствие, навеянное на него утреннюю свежестью, тотчас же исчезло, и в порыве внезапного гнева он крикнул:

– Черт возьми! Оставьте в покое этот вагон... Он пойдет вечером...

Старший рабочий объяснил, что вагон только передвинут и вместо него будет прицеплен другой, стоящий позади. Но Рубо, не слушая, в ярости продолжал кричать:

– Сказано же вам, остолопы, не трогать его!

Поняв, наконец, в чем дело, он все еще продолжал злиться и обрушился на плохое оборудование станции, где нет даже поворотного круга. Действительно, станция в Гавре, построенная одной из первых на железнодорожной линии, была из рук вон плохо для такого большого города. Деревянный ангар покривился от старости, а дебаркадер, с узкими стеклами, крытый деревом и цинком, и остальные постройки, ветхие, с облупившейся штукатуркой, производили жалкое впечатление.

– Просто стыд и срам! – добавил Рубо. – Что смотрит наше железнодорожное общество! Снести бы весь этот хлам и построить вместо него приличную станцию...

Рабочие с изумлением смотрели на помощника начальника станции, всегда отличавшегося строгим соблюдением дисциплины, а теперь вдруг позволившего себе заговорить так смело и независимо. Заметив это, Рубо тотчас же спохватился и, молчаливый, сдержанный, продолжал наблюдать за передвижкой вагонов. Угрюмая складка прорезала его низкий лоб, и на его круглом красном лице с густой рыжей бородой появилось выражение непреклонной воли.

Теперь к Рубо вернулось все его хладнокровие. Он занялся составлением курьерского поезда, контролировал каждую мелочь. Сцепка некоторых вагонов показалась ему недостаточно надежной, и он заставил исправить ее в своем присутствии; одна дама, знакомая его жены, просила, чтобы он посадил ее с дочерьми в дамское отделение. Прежде чем дать сигнальный свисток к отправлению поезда, Рубо еще раз удостоверился, что все в исправности, и затем долго и пристально следил за удалявшимся поездом взглядом человека, знающего, что минута рассеянности, невнимания может повлечь за собою гибельную катастрофу. Но ему тут же пришлось перейти через полотно дороги, чтобы встретить подходивший руанский поезд. С этим поездом прибыл почтовый служащий, с которым он ежедневно обменивался новостями. Это была единственная короткая передышка – с четверть часа – в напряженной утренней работе, когда Рубо мог вздохнуть свободно, так как срочных служебных дел в это время у него не было. И на этот раз он, по обыкновению, свернул папироску и очень весело беседовал с почтовым служащим. Уже совсем рассвело, на дебаркадере потушили газовые фонари. Узкие стекла пропускали такой скудный свет, что здесь еще все было окутано сероватым сумраком, хотя восточная окраина неба уже сияла в лучах восходящего солнца, а весь остальной горизонт принял нежно-розовый оттенок, и в чистой атмосфере ясного зимнего утра четко обрисовывались все предметы.

В восемь часов утра выходил обычно на службу начальник станции Дабади, и его помощник являлся к нему с донесением. Начальник станции был красивый, элегантный брюнет, напоминавший своими манерами крупного коммерсанта, чрезвычайно занятого своими делами. Он почти не обращал внимания на пассажирскую станцию, а интересовался главным образом

портовым движением и громадным товарным транзитом и постоянно поддерживал отношения с важнейшими торговыми фирмами в Гавре и за границей. На этот раз он слегка опоздал. Рубо уже два раза входил к нему в кабинет, но его все не было. Письма и газеты, полученные с утренней почтой, лежали на столе нераспечатанными. Среди писем помощник начальника станции заметил также одну телеграмму. Она его словно приворожила: он не отходил от дверей и несколько раз, невольно оборачиваясь, бросал на стол быстрый взгляд.

Наконец, десять минут девятого вошел Дабади. Рубо, присевший на стул, молчал, чтобы не мешать ему прочесть телеграмму. Начальник станции, однако, не торопился и, желая быть любезным с подчиненным, к которому всегда относился с уважением, сказал:

– Надеюсь, у вас в Париже все уладилось?

– Да, уладилось благодаря вашему лестному обо мне отзыву.

Дабади распечатал наконец телеграмму, но, все еще не читая ее, любезно улыбался своему помощнику, голос которого звучал как-то глухо вследствие усилия сдержать нервную судорогу, подергивавшую подбородок.

– Мы все очень рады, что вас оставляют здесь, – заметил начальник станции.

– Мне самому чрезвычайно приятно служить под вашим начальством.

Дабади решился наконец пробежать телеграмму. Рубо, вспотев от волнения, не сводил с него глаз, но не мог подметить на лице начальника станции даже и тени тревоги. Дочитав телеграмму, Дабади совершенно спокойно бросил ее на стол, вероятно, она была чисто делового содержания. Затем он принялся просматривать утреннюю почту, выслушивая одновременно доклад своего помощника о случившемся на станции за ночь и рано утром. На этот раз доклад Рубо не отличался обычной ясностью и отчетливостью. Рубо как-то замялся и не сразу вспомнил о том, что передал ему ночной дежурный о бродягах, задержанных в багажном отделении. Обменявшись со своим помощником еще несколькими словами, Дабади простился с ним кивком головы, так как в кабинет вошли другие два помощника: заведующий портовым движением и начальник движения малой скорости. Они принесли еще телеграмму, которую только что передал им на дебаркадере телеграфист.

Дабади, видя, что Рубо остановился у дверей, громко сказал ему:

– Можете идти.

Рубо, однако, продолжал стоять, пристально глядя на начальника широко раскрытыми глазами, и ушел лишь после того, как, распечатав телеграмму, Дабади равнодушно бросил ее на стол. С минуту Рубо растерянно ходил по дебаркадере. Станционные часы показывали тридцать пять минут девятого. Ближайший пассажирский поезд отходил лишь в девять часов пятьдесят минут. Обыкновенно Рубо пользовался этим свободным часом, чтобы обойти вокзал. Он бродил несколько минут, не сознавая, куда несут его ноги. Подняв голову и увидев, что очутился возле вагона Э 293, он круто повернул в сторону и направился к паровозному депо, хотя там ему совершенно нечего было делать. Солнце уже взошло, золотистой пылью искрились его лучи в бледном свете утра. Но Рубо уже не в состоянии был наслаждаться этим прелестным утром; он торопливо шел с озабоченным видом, стараясь чем-нибудь заглушить в себе тоску ожидания. Вдруг его остановил возглас:

– Здравствуйте, господин Рубо! Видели мою жену?

Это был кочегар Пекэ, мужчина сорока трех лет, высокого роста, сухощавый, но с широкой костью, с лицом, покрытым копотью. Лоб у него был низкий, серые глаза и крупный рот с выдающимися челюстями постоянно смеялись бесшабашным смехом весельчака-кутилы.

– Как, вы здесь? – с изумлением спросил Рубо, остановившись перед кочегаром. – Ах, да, я и забыл, у вашего паровоза небольшая поломка. Значит, вы отправляетесь только сегодня вечером? Неожиданно получили отпуск на целые сутки? Небось, рады, а?

– Само собой! – подтвердил Пекэ, еще не успевший хорошенько протрезвиться после вчерашней попойки.

Пекэ родился в деревне, неподалеку от Руана, и еще смолodu поступил в железнодорожные мастерские, рабочим в монтировочное отделение; он проработал там лет до тридцати, а затем перешел в кочегары, рассчитывая дослужиться до машиниста. Тогда-то он и женился на своей землячке Виктории, из одной с ним деревни. Однако проходил год за годом, а он все еще оставался кочегаром. Да он и не мог рассчитывать, что его назначат машинистом: поведения он был прескверного, кутил, пьянствовал и волочился за женщинами. Его уже раз двадцать прогнали бы со службы, если бы ему не покровительствовал Гранморен и если бы начальство не свыклось, в конце концов, с его недостатками, которые в значительной степени искупались веселым нравом и опытностью старого рабочего. В пьяном виде, однако, Пекэ становился положительно опасным, он делался тогда лютым зверем, от которого можно было ожидать самого худшего.

– Так что же, видели вы мою жену? – снова повторил он, улыбаясь во весь рот.

– Разумеется, видели; мы даже позавтракали в ее комнате... Славная у вас жена, Пекэ. Нехорошо, что вы ей изменяете...

Пекэ громко расхохотался.

– Ну, это не называется изменять! Ведь она же сама не хочет, чтобы я скучал, – возразил он.

Пекэ говорил правду. Виктория, которая была старше мужа на два года, растолстела и стала тяжела на подъем; она совала Пекэ в карманы пятифранковые монеты, чтобы он мог развлекаться на стороне. Она никогда особенно не страдала от его измен и позволяла ему шляться по притонам, как того требовала его натура; и теперь его жизнь наладилась, у него было две жены – по одной на каждом конце линии: одна в Париже – законная, а другая в Гавре, где он проводил несколько часов каждый раз от прибытия и до отхода поезда. Виктория была очень экономна и жалела потратить на себя лишний сантим; к мужу она питала материнские чувства и, зная все его проделки, даже снабжала его деньгами, говоря, что не желает, чтобы он компрометировал себя перед «другой». Каждый раз перед отправлением из Парижа курьерского поезда, с которым ездил Пекэ, Виктория тщательно осматривала его одежду, чтобы «другая» не имела права обвинить ее в неряшливости и дурном уходе за их общим мужем.

– Все-таки это нехорошо, – сказал Рубо. – Моя жена обожает свою кормилицу, она задаст вам хорошую головомойку.

Он замолчал, увидев, что из депо, возле которого они стояли, вышла высокая сухощавая женщина, Филомена Сованья, сестра начальника депо, состоявшая уже в течение целого года дополнительной женой Пекэ. Она, по-видимому, разговаривала в депо с кочегаром, который, заметив подходившего помощника начальника станции, вышел к нему навстречу. Рослая, угловатая, с плоской грудью, еще моложавая, несмотря на свои тридцать два года, Филомена сгорала от неутоленного желания. Своим длинным лицом и пылающими глазами она напоминала поджарую, ржущую от нетерпения кобылицу. Говорили, будто она сильно пьет. Все мужчины, служившие на станции, перебивались у нее в маленьком домике около паровозного депо, где она жила вместе со своим братом. В доме у нее было очень грязно. Брат ее, упрямый овернец, требовал от своих подчиненных строжайшей дисциплины и пользовался большим уважением начальства. Ему, однако, пришлось вынести из-за сестры немало неприятностей, причем ему угрожало даже увольнение со службы; и если теперь начальство терпело присутствие Филомены благодаря брату, то сам он держал ее у себя только из упорного родственного чувства. Это не мешало ему, однако, каждый раз, как он заставлял сестру с мужчиной, колотить ее так жестоко, что она валялась потом на полу полумертвая. С Пекэ ее связывало настоящее чувство. Она уgomонилась в объятиях этого бесшабашного верзилы, а он радовался перемене и, переходя от своей жирной супруги к тощей любовнице, острил, что лучшего ему и искать нечего.

Только Северина сочла своим долгом по отношению к тетушке Виктории рассориться с Филоменой, которую она по своей врожденной гордости не только избегала, но которой перестала даже кланяться.

– Ну, до свидания, Пекэ, – сказала нахальным тоном Филомена. – Я уйду, потому что господин Рубо, должно быть, не скоро окончит читать тебе нравоучение от имени своей жены...

Пекэ продолжал добродушно смеяться.

– Не уходи. Разве ты не видишь, что господин Рубо шутит?..

– Нет, мне некогда. Я обещала госпоже Лебле занести ей пару яичек от моих кур.

Она нарочно упомянула про г-жу Лебле, зная, что между женами кассира и помощника начальника станции существовало соперничество. Филомена делала вид, будто находится в наилучших отношениях с г-жой Лебле, ей хотелось разозлить этим Северину. Тем не менее она остановилась, услышав, что кочегар осведомился у Рубо о результатах истории с супрефектом.

– Разумеется, дело уладилось к вашему удовольствию, господин Рубо?

– Да, я чрезвычайно доволен.

Пекэ лукаво подмигнул.

– Понятно, вам-то нечего было беспокоиться, когда вы знакомы с такой важной шишкой... Вы ведь знаете, о ком я говорю... Жена моя ему тоже очень обязана...

Рубо был неприятен этот намек; он оборвал кочегара вторичным вопросом:

– Значит, отправляетесь сегодня вечером?

– Как же, отправляемся. Лизон будет в полной исправности, ей теперь приладили новый шатун. Я жду с часу на час моего машиниста, он поехал прокатиться по линии. Вы, наверное, его знаете. Это ваш земляк, Жак Лантье...

Задумавшись, Рубо не сразу ответил кочегару. Затем, словно очнувшись, он переспросил:

– Как вы говорите? Машинист Жак Лантье?.. Разумеется, я его знаю, но у нас с ним шапочное знакомство. Мы и встретились впервые только здесь, на линии. Он гораздо моложе меня, и в Плассане я никогда его не видел... Прошлой осенью он оказал небольшую услугу моей жене: она давала ему какое-то поручение в Диепп к своим двоюродным сестрам... Говорят, он способный малый.

Рубо вдруг стал необычайно словоохотлив, но затем совершенно неожиданно сказал:

– До свидания, Пекэ! Мне надо здесь еще кое-что осмотреть.

Тут только Филомена удалилась, крупно шагая, как кобылица. А Пекэ продолжал стоять неподвижно, засунув руки в карманы, весело улыбаясь при мысли, что он может прогулять все утро. Его несколько удивило, что помощник начальника станции, поспешно обойдя ангар, тотчас же вернулся оттуда.

«Что-то уж больно скоро он все осмотрел, – подумал про себя Пекэ. – И что он тут шпионит?»

К девяти часам Рубо вернулся на дебаркадер. Он прошел до самого конца, где находилось почтовое отделение, осмотрелся и, как будто не найдя того, что искал, вернулся назад тем же нетерпеливым шагом. Он испытующе оглядел по очереди все выходившие на дебаркадер станционные конторы. В это время на станции было тихо и пусто; один только Рубо взволнованно метался, взвинченный этой тишиной и спокойствием. Он до такой степени томился ожиданием катастрофы, что, в конце концов, стал страстно желать, чтобы она наступила возможно скорее. Хладнокровие его иссякло, он не мог больше спокойно оставаться на месте. Теперь он, не отрываясь, смотрел на часы. Девять... пять минут десятого... Обычно он приходил домой завтракать не раньше десяти часов, после отхода поезда в девять пятьдесят. Но тут он внезапно побежал к себе, вспомнив о Северине, которая, наверное, так же томится бесконечным ожиданием.



В коридоре Рубо встретил г-жу Лебле. Как раз в это время она отворяла дверь Филомене, которая зашла к ней по-соседски, без шляпки и принесла ей обещанные два яйца. Они остались в коридоре, и Рубо прошел в свою квартиру под перекрестным огнем их взглядов. У него был с собой ключ, он быстро открыл дверь и захлопнул ее за собой. Тем не менее обе успели за это время заметить Северину, неподвижно сидевшую в столовой со сложенными на коленях руками; она была очень бледна. Г-жа Лебле увела тогда Филомену к себе и, заперев за собою дверь, рассказала, что видела Северину утром в таком же точно положении. Очевидно, история с супрефектом окончилась неудачей. Филомена возразила, что это не так. Она для того и забежала, чтобы сообщить г-же Лебле новости; и она в точности передала слова Рубо. Тогда обе женщины стали строить всевозможные предположения. Они любили посплетничать и при каждой встрече не упускали случая почесать язычки.

– Я готова голову дать на отсечение, что им задали хорошую головоломку, милочка. Наверное, они висят теперь на волоске...

– Ах, сударыня, если бы нам удалось как-нибудь от них избавиться!

Соперничество между семьями Лебле и Рубо, принимавшее с каждым днем все более ожесточенную форму, разгорелось из-за квартиры. Весь второй этаж над пассажирскими залами был занят железнодорожными служащими. Центральный коридор, совершенно такой, как в меблированных комнатах, выкрашенный в желтый цвет и освещенный сверху, разделял этаж на две половины. В этот коридор выходили с обеих сторон двери, окрашенные коричневой краской. Но между квартирами, расположенными по разным сторонам коридора, замечалось некоторое различие. Те, что были по правую сторону коридора, выходили на обсаженную старыми вязами привокзальную площадь, за которой развевался дивный вид на Ингуильский холм, а маленькие полукруглые окна квартир по левую сторону коридора – прямо на загораживавший горизонт дебаркадер с высокой цинковой крышей и закопченными стеклами. Квартиры по правую сторону, выходившие на оживленную площадь с зелеными деревьями, на широко раскинувшуюся даль, были очень веселенькие, тогда как в квартирах противоположной стороны можно было умереть от тоски. Там было мрачно, как в тюрьме. В веселых квартирах переднего фасада жили: начальник станции, его помощник Мулен и кассир Лебле, а в квартирах, выходивших на дебаркадер, – Рубо и конторщица, мадмуазель Гишон. Кроме того, там находились три комнаты для приезжавших иногда железнодорожных инспекторов. Вообще было так заведено, что оба помощника начальника станции жили всегда рядом. Предшественник Рубо, бездетный вдовец, желая угодить г-же Лебле, уступил ей свою квартиру. Но разве теперь эта квартира не должна перейти к Рубо? Справедливо ли было запихать их назад, раз они имели право на помещение в передней части дома? Пока обе семьи жили в мире и согласии, Северина уступала своей соседке, которая была лет на двадцать старше ее и к тому же страдала одышкой из-за своей непомерной толщины. Война между ними возгорелась лишь благодаря Филомене, которая поссорила их своими сплетнями.

– Знаете ли, – продолжала Филомена, – они, пожалуй, воспользовались своей поездкой в Париж, чтобы выхлопотать себе вашу квартиру. Мне рассказывали, будто они написали директору дороги длинейшее письмо, в котором обстоятельно доказывают свои права на нее...

Г-жа Лебле задыхалась от негодования.

– Разумеется, от таких негодяев все станется!.. Я уверена, они стараются переманить на свою сторону и конторщицу. Она почти не здоровается со мной уже недели две... Важная птица, нечего сказать! Впрочем, я за ней присматриваю...

Она понизила голос и стала уверять Филомену, что мадмуазель Гишон каждую ночь бежит к начальнику станции. Они жили дверь в дверь. Сам Дабади – вдовец, единственная, довольно взрослая дочь которого находилась в пансионе, – привез сюда эту молчаливую, худощавую конторщицу, гибкую, как змея, тридцатилетнюю, начинавшую уже увядать блондинку. Она, должно быть, служила прежде в гувернантках. Такая ловкая бабенка, ни за что ее не пой-

маешь! Проскользнет незаметно в самую узенькую щель. Сама по себе конторщица, понятно, не играла никакой роли; но если она действительно живет с начальником станции, то, разумеется, может приобрести большое влияние. Г-жа Лебле считала поэтому чрезвычайно важным овладеть ее тайной, чтобы благодаря этому держать ее потом в руках.

– Я своего добьюсь, узнаю всю подноготную! – продолжала г-жа Лебле. – Меня не так-то легко выжить отсюда. Эта квартира теперь наша, и мы в ней останемся. Все добрые люди за нас заступятся... Так ведь, милочка?

Действительно, этой квартирной войной горячо интересовалась вся станция, особенно был втянут в нее коридор. Только другой помощник начальника станции, Мулен, оставался совершенно спокойным. Он был доволен, что сам со своей молоденькой женой жил на светлой стороне. Она была робким и хрупким созданием, никуда не показывалась и каждые двадцать месяцев аккуратно приносила ему по ребенку.

– Может быть, Рубо и висит на волоске, – заявила Филомена, – но из этого еще не следует, что он слетит теперь же... Советую вам быть поосторожней. У них имеется рука в нашем правлении.

С этими словами она передала г-же Лебле яйца, которые до тех пор держала в руках, самые свежие яйца, прямо из-под кур.

Старуха рассыпалась в благодарностях.

– Какая вы милая! Вы меня просто балуете... Заходите ко мне почаще поболтать. Ведь мой муж всегда сидит в кассе, а я вечно дома из-за своих больных ног. Просто умрешь тут со скуки, если из-за этих негодяев нельзя будет даже полюбоваться природой!

Провожая Филомену и отворив дверь своей квартиры, г-жа Лебле приложила палец к губам и проговорила:

– Тсс! Давайте послушаем.

Они постояли в коридоре, по крайней мере, минут пять, не двигаясь и притаив дыхание. Вытянув шеи, насторожив уши, они внимательно прислушивались к тому, что происходило в столовой Рубо. Однако оттуда не доносилось ни единого звука, там царила мертвая тишина. Опасаясь, что кто-нибудь уличит их в подслушивании, они наконец молча простились друг с другом кивком головы. Филомена ушла на цыпочках, а г-жа Лебле так тихо заперла свою дверь, что даже замок не щелкнул.

Двадцать минут десятого Рубо был уже снова внизу, на дебаркадере. Он наблюдал за составлением пассажирского поезда, который должен был отойти в девять часов пятьдесят минут. Несмотря на все усилия казаться спокойным, он жестикулировал более обыкновенного, топтался на месте и постоянно оборачивался, окидывая взглядом дебаркадер из конца в конец. Но ничего пока не произошло, и от мучительного ожидания у него дрожали руки.

Вдруг кто-то его окликнул; подбежал запыхавшийся телеграфист:

– Не знаете, господин Рубо, где начальник станции и станционный полицейский комиссар?... Им присланы телеграммы, и я уже десять минут разыскиваю их по всей станции...

Сделав над собою громадное усилие, так, что не дрогнул на лице ни один мускул, Рубо повернулся к телеграфисту, пристально посмотрел на телеграммы. По взволнованному виду телеграфиста Рубо понял, что давно ожидаемая катастрофа наконец наступила.

– Господин Дабади проходил сейчас здесь, – сказал Рубо совершенно спокойно.

Он никогда еще не был так хладнокровен, как в эту минуту. Мысль его работала необычайно четко, все его душевные силы были сосредоточены на самозащите. Он чувствовал в себе большую уверенность.

– Да вот господин Дабади возвращается, – продолжал он.

Действительно, начальник станции возвращался из товарного отделения. Пробежав депешу, он воскликнул:

– На нашей дороге совершено убийство!.. Мне телеграфирует об этом инспектор руанской дистанции.

– Как, – осведомился Рубо, – убили кого-нибудь из служащих?

– Нет, убили пассажира, занимавшего отдельное купе. Труп его был выброшен из вагона почти при самом выходе из Малонейского туннеля, у столба номер сто пятьдесят три. Убитый – один из членов правления нашей дороги, бывший председатель окружного суда Гранморен.

Тогда помощник начальника станции в свою очередь воскликнул:

– Председатель окружного суда? Ах, моя жена будет очень огорчена!

Возглас этот казался таким искренним и соболезнующим, что Дабади заметил:

– И в самом деле, вы ведь с ним знакомы!.. Не правда ли, он был прекраснейший человек?..

Взглянув на другую телеграмму, на имя станционного полицейского комиссара, он добавил:

– Это, вероятно, телеграмма, от судебного следователя насчет каких-нибудь судебно-полицейских формальностей... Теперь только двадцать пять минут десятого, и господина Кош, конечно, еще нет на станции. Пусть кто-нибудь сбегает в кафе на бульваре Наполеона, он, наверно, там.

И действительно, минут через пять Кош явился в сопровождении посланного за ним рабочего. Кош был отставной офицер: на нынешнюю свою должность он смотрел, как на замену пенсии, которую ему следовало бы уже получать. Он никогда не являлся на станцию ранее десяти часов; побродив там в течение нескольких минут, он возвращался назад в кафе. Драма, свалившаяся, как снег на голову, – он не успел даже доиграть партию в пикет, – привела его сперва в некоторое изумление, так как до сих пор через его руки проходили самые пустые дела. Врученная ему телеграмма была, однако, на самом деле от руанского судебного следователя. Она прибыла лишь через двенадцать часов после того, как найден был труп; это объяснялось тем, что судебный следователь сперва телеграфировал в Париж начальнику станции запрос, при каких обстоятельствах уехал оттуда г-н Гранморен. Затем, узнав номер поезда и вагона, он телеграфировал станционному комиссару предписание осмотреть отдельное купе вагона Э 293, если этот вагон окажется еще в Гавре. Дурное расположение духа, в которое сперва пришел было Кош при мысли, что его, разумеется, тревожат по пустякам, сменилось гордым сознанием собственного достоинства, соответствовавшим необычайной важности, которую приобретало дело.

Его даже встревожило опасение, что следствие по такому крупному делу, чего доброго, еще ускользнет от него.

– Да ведь этого вагона, должно быть, и след простыл. Его, наверно, отослали сегодня утром...

Рубо утешил его, возразив совершенно спокойным тоном:

– Нет, нет, извините! Нам заказали на сегодняшний вечер отдельное купе, и мы задержали здесь этот вагон. Он теперь в вагонном парке.

И Рубо первый направился в парк, полицейский комиссар и начальник станции пошли за ним. Известие о катастрофе успело уже распространиться по всей станции. Рабочие потихоньку бросали дело и также направлялись к вагонному парку. В дверях станционных контор показались служащие, которые поодиночке присоединялись к образовавшейся группе. Вскоре собралась изрядная толпа.

Подойдя к вагону, Дабади заметил вслух:

– Вчера вечером ведь осматривали вагон? Если бы остались какие-либо следы убийства, о них донесли бы в вечернем рапорте.

– Мы все-таки посмотрим, – возразил Кош.

Открыв дверцу, он поднялся в купе, но в ту же минуту закричал вне себя от негодования:

– Черт поberi! Можно подумать, что здесь закололи свинью...

Ужас охватил всех присутствовавших. Люди вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Даб-ади, один из первых пожелавший осмотреть купе, поднялся на ступеньку. Позади него стоял Рубо и так же, как другие, вытягивал шею.

Никакого беспорядка в купе не оказалось. Окна были закрыты, и все оставалось, по-видимому, на месте. Но из открытой дверцы пахнуло страшным зловонием, а посередине одной из подушек оказалась лужа запекшейся черной крови, такая глубокая и широкая, что из нее вытек целый ручеек и разлился по ковру. К сукну подушки пристали во многих местах большие сгустки крови. Кроме этой вонючей крови никаких других следов преступления найдено не было. Даб-ади пришел в величайшее негодование.

– Где рабочие, которые осматривали вчера вечером вагон? Пусть явятся немедленно!..

Рабочие оказались тут же. Они стали оправдываться: дело было ночью, они ничего не заметили, хотя прибирали везде. И никакого подозрительного запаха тоже не чувствовалось.

Тем временем Кош, стоя в вагоне, делал карандашом заметки для донесения. Он под-звал Рубо, с которым был коротко знаком и зачастую прогуливался в свободное время, поку-ривая папиросы:

– Войдите сюда, господин Рубо. Вы мне поможете при осмотре вагона.

Помощник начальника станции осторожно перешагнул через лужу крови на ковре, чтобы не попасть в нее ногой.

– Посмотрите, пожалуйста, под другой подушкой, нет ли там чего-нибудь.

Рубо приподнял подушку, осторожно ощупал все под нею. Взгляд его выражал простое любопытство.

– Нет. Я тут ничего не нахожу, – сказал он.

Но его внимание привлекло пятно на сукне, которым была обита мягкая спинка дивана, и он указал на это пятно комиссару:

– Это, кажется, отпечаток окровавленного пальца.

Комиссар, однако, полагал, что туда просто брызнула кровь, и Рубо с ним согла-сился. Почуввав преступление, собравшаяся толпа продвинулась ближе. Люди теснились позади начальника станции, который, испытывая отвращение, свойственное утонченному человеку, остановился на нижней ступеньке вагона. Вдруг начальнику станции пришла в голову мысль:

– Да ведь вы, господин Рубо, сами ехали с этим поездом... Вы, кажется, вернулись сюда вчера вечером с курьерским. Пожалуй, вы могли бы сообщить нам кое-какие данные...

– Да, правда, – подтвердил комиссар. – Не заметили ли вы дорогой чего-нибудь подозри-тельного?..

В продолжение трех или четырех секунд Рубо молчал. Нагнувшись, он пристально рас-сматривал ковер, но почти тотчас же выпрямился и ответил обычным, немного грубоватым голосом:

– Разумеется, я вам все расскажу... Только, видите ли, со мной была жена. Если то, что я расскажу, будет занесено в протокол, пусть она тоже придет сюда, она поможет мне припомнить все точнее...

Предложение помощника начальника станции показалось полицейскому комиссару вполне основательным. Подошедший Пекэ вызвался сходить за г-жою Рубо. После его ухода прошло несколько минут томительного ожидания. Филомена, подоспевшая в вагонный парк вместе с кочегаром, смотрела ему вслед, раздосадованная тем, что он взял на себя такое поручение. Увидев г-жу Лебле, ковылявшую на своих распухших ногах, она бросилась к ней навстречу и помогла ей дойти. Поднимая руки к небу, обе женщины громким голосом выра-жали негодование по поводу обнаруженного гнусного преступления. Никто не знал еще ничего достоверного, но в толпе уже передавали вполголоса разные предположения. Лица у многих были испуганные. Заглушенный гул голосов покрывал голос Филомены, божившейся, что г-жа

Рубо видела убийцу, хотя сама Филомена ни от кого не слышала об этом. Когда Пекэ вернулся в сопровождении г-жи Рубо, водворилось молчание.

– Взгляните-ка на нее, – шептала г-жа Лебле. – Кто скажет, что это жена помощника начальника станции! Она разыгрывает из себя настоящую принцессу. Сегодня ни свет, ни заря она уже, извольте видеть, причесана и затянута в корсет, словно собралась в гости.

Северина приближалась мелкими, ровными шажками. Ей пришлось долго идти по дебаркадеру на глазах толпы, с нетерпением ожидавшей ее, но она не теряла присутствия духа и только прижимала к глазам носовой платок, удрученная известием об убийстве Гранморена. Одета в простое, но изящное черное платье, она, казалось, была уже в трауре по своему покровителю. Ее тяжелые черные волосы блестели на солнце, – несмотря на холод, она второпях ничего не набросила на голову. Ее кроткие голубые, полные слез глаза возбуждали к ней невольную симпатию.

– Как ей не плакать! – заметила вполголоса Филомена. – Теперь они с мужем окажутся на мели. Некому будет уж за них хлопотать...

Толпа расступалась перед Севериной, и молодая женщина подошла к открытым дверцам купе. Кош и Рубо вышли оттуда, и Рубо начал тотчас же рассказывать, что ему было известно.

– Правда, милочка, вчера утром, тотчас по прибытии нашем в Париж, мы с тобой зашли навестить господина Гранморена? Это было приблизительно четверть двенадцатого, так ведь?

Он пристально глядел на жену, и она послушно повторила:

– Да, четверть двенадцатого.

Глаза ее внезапно остановились на подушке, пропитанной черной, запекшейся кровью, с ней сделался припадок истерики; из ее груди вырвались глухие рыдания. Начальник станции, взволнованный этой сценой, поспешил вмешаться:

– Сударыня, вы, очевидно, не в силах выносить это зрелище... Мы как нельзя лучше понимаем вашу скорбь...

– Мы сию минуту кончим, – прервал его полицейский комиссар, – а затем госпожу Рубо можно будет проводить домой...

Рубо торопливо продолжал:

– После того, как мы переговорили о разных делах, господин Гранморен сообщил нам, что собирается на следующий день ехать в Дуанвиль, к сестре... Я, как теперь, вижу его за письменным столом. Я был вот здесь, а моя жена там... Правда, милочка, он сказал нам, что едет на следующий день?

– Да, на следующий день.

Кош, продолжавший делать карандашом заметки в своей записной книжке, поднял голову:

– Как так на следующий день? Ведь он поехал в тот же день вечером!

– Подождите, – возразил Рубо. – Узнав, что мы едем назад в тот же вечер, он сказал, что, пожалуй, отправится с нами курьерским, если моя жена поедет с ним в Дуанвиль погостить на несколько дней у его сестры – она ездила туда неоднократно, – но жена отказалась, так как у нее накопилось много дел по хозяйству... Ты ведь отказалась с ним ехать?..

– Да, отказалась.

– Вообще он был с нами очень любезен. Он говорил со мной о моих служебных делах и проводил нас до самых дверей своего кабинета... Так ведь, милочка?

– Да, до самых дверей...

– Вечером мы уехали... Перед тем, как сесть в вагон, я немного поговорил с начальником станции, господином Вандоргом. И я решительно ничего подозрительного не заметил. Мне было очень неприятно, что в купе, где я рассчитывал ехать только вдвоем с женой, оказалась еще в одном углу дама, которую я сначала не заметил, а перед самым отходом поезда туда поместили еще двух пассажиров, мужа и жену... До самого Руана я не заметил ничего особен-

ного. В Руане мы вышли, чтобы размять ноги, и, к величайшему удивлению, увидели через три или четыре вагона от нашего, у открытых дверей отдельного купе господина Гранморена... «Как, господин председатель, вы тоже едете этим поездом? Мы и не подозревали, что едем вместе с вами!..» Он нам объяснил, что получил телеграмму... В это время обер-кондуктор дал свисток, и мы поскорее вернулись к себе в вагон, который, между прочим, оказался совершенно пустым, так как все наши попутчики вышли в Руане, чем вовсе нас не огорчили. Вот и все. Так ведь, милочка?

– Да, вот и все.

Этот простой рассказ произвел сильное впечатление на слушателей; на лицах было написано недоумение. Полицейский комиссар, перестав писать, обратился к Рубо с вопросом, который, без сомнения, был у всех на устах:

– Вы вполне уверены, что никого не было в отдельном купе с господином Гранмореном?

– Да, я в этом совершенно уверен...

Присутствующие содрогнулись. Эта тайна внушала ужас, мороз пробежал по коже. Если в Руане Гранморен был один в своем купе, то кто же мог его зарезать и выбросить из вагона в трех милях от ближайшей остановки поезда?

Среди общего молчания послышалось язвительное замечание Филомены:

– Все это, однако, очень странно!

Чувствуя, что Филомена на него смотрит, Рубо тоже взглянул на нее и кивнул, как будто в подтверждение того, что и сам находит все это очень странным. Возле Филомены он заметил Пекэ и г-жу Лебле, которые также покачивали головой. Все смотрели на него, как будто ожидая, что он скажет еще что-нибудь. Казалось, все хотели прочесть у него на лице какую-то опущенную им подробность, которая могла бы разъяснить дело. В этих взорах, горевших любопытством, не было и тени обвинения. Однако Рубо показалось, что возникает уже неясное подозрение, которое под влиянием самого ничтожного факта может вдруг обратиться в полную уверенность.

– Удивительно, – заметил вполголоса полицейский комиссар.

– В высшей степени удивительно, – подтвердил Дабади.

Тогда Рубо решился добавить:

– Я вполне уверен также, что курьерский поезд, который идет от Руана до Барантена без остановок, шел со своею обычной скоростью, и я вообще не заметил ничего ненормального. Я могу это сказать, потому что, воспользовавшись тем, что мы остались одни в вагоне, я опустил окно, чтобы выкурить папиросу; при этом я осмотрелся кругом и прислушался к шуму поезда... На Барантенской станции я видел на платформе господина Бесьера, – он сменил меня там в должности начальника станции. Я подозвал его, и мы перекинулись несколькими словами, причем он, поднявшись на подножку, пожал мне руку. Так ведь, милочка? Господин Бесьер может все это подтвердить.

Бледная и изнеможенная Северина, лицо которой было омрачено глубокой скорбью, опять словно механически ответила:

– Да, он может это подтвердить...

Теперь обвинение становилось невозможным, раз Рубо оказались и на Барантенской станции в том же вагоне, в который они сели в Руане. Легкая тень сомнения, которую помощник начальника станции подметил, как ему показалось, в устремленных на него взорах, совершенно исчезла, но вместе с тем общее недоумение возрастало. Дело принимало все более таинственный оборот.

– Вполне ли вы уверены, что в Руане, после того, как вы расстались с господином Гранмореном, никто не мог войти к нему в купе? – спросил комиссар.

Рубо, очевидно, не предвидел этого вопроса. Он замялся, так как, без сомнения, не подготовил подходящего ответа. Он смотрел на жену и медлил с ответом.

– Нет, не думаю... В это время как раз закрывали дверцы вагонов, свисток уже был дан, и мы едва успели вернуться к себе в вагон... Притом купе ведь было заказано, кто же мог туда войти?

Но глаза у Северины стали такие огромные, что Рубо испугался своего показания.

– Впрочем, я не могу сказать ничего определенного, – добавил он. – Пожалуй, и в самом деле кто-нибудь мог туда забраться... На станции была ужасная толкотня...

По мере того, как Рубо говорил, голос его становился все более уверенным. Новая мысль облекалась у него в весьма правдоподобную форму.

– По случаю здешнего праздника в Руане на дебаркадер нахлынула огромная толпа народа... К нам в вагон пытались влезть пассажиры второго и даже третьего класса; мы с трудом от них отделались. Кроме того, станция там очень плохо освещена – темень такая, что зги не видать, теснота, давка, крики, особенно перед самым отходом поезда... В самом деле, очень может быть, что, не найдя свободного места или даже просто пользуясь суматохой, кто-нибудь в последнюю минуту насильно ворвался в купе.

Затем, обращаясь к жене, он спросил:

– Как ты думаешь, милочка, должно быть, так было? – Вконец измученная Северина, прижимая платок к покрасневшим от слез глазам, подтвердила:

– Наверно, так и было.

Таким образом, след был указан. Полицейский комиссар и начальник станции молча обменялись многозначительным взглядом. Толпа пришла в движение: дознание было окончено, и все чувствовали потребность высказать свое мнение. Каждый объяснял происшедшее по-своему и придумывал свою историю. Работа на станции как будто замерла; заинтересованные драмой служащие собрались у парка; остановившийся у дебаркадера поезд, прибывший тридцать восемь минут десятого, застал их врасплох. Все бросились по местам, дверцы вагонов раскрылись, и волна пассажиров хлынула в вокзал. Небольшой кружок любопытных группировался еще вокруг полицейского комиссара, который с аккуратностью добросовестного человека еще раз осмотрел залитое кровью купе.

Пекэ, стоявший рядом с г-жою Лебле и Филоменой, оживленно разговаривал с ними. Увидав своего машиниста Жака Лантье, который только что прибыл с поездом и издали смотрел на собравшихся, Пекэ подозвал его, отчаянно жестикулируя. Жак сперва было не трогался с места, но затем решился подойти.

– Что у вас случилось? – спросил он у своего кочегара.

Ему все было известно, а потому он рассеянно слушал рассказ об убийстве Гранморена и о предположениях, которые делались по этому поводу. Но его удивило и необычайным образом взволновало, что он попал как раз к самому следствию и что он снова видит теперь то самое купе, которое так стремительно пронеслось тогда во мраке мимо него. Вытянув шею, он смотрел на лужу запекшейся крови, оставшуюся на подушке. Перед ним воскресла сцена убийства. С особенной отчетливостью видел он перед собой труп с перерезанным горлом, лежавший поперек полотна дороги. Жак отвернулся и заметил Рубо и Северину; Пекэ продолжал рассказывать, каким образом супруги Рубо оказались замешанными в эту историю, как они уехали из Парижа в одном поезде с Гранмореном и перекинулись с ним несколькими словами в Руане. Жак был знаком с Рубо и обменивался с ним иногда рукопожатиями с тех пор, как стал ездить с курьерским поездом. Что касается Северины, то он изредка виделся с ней, но в своем болезненном страхе сторонился ее, как и других женщин. Но сейчас, бледная, вся в слезах, с каким-то растерянным выражением кротких голубых глаз под шапкой черных волос, она своим видом поразила и взволновала Жака. Он, не отрываясь, смотрел на нее и как бы в забытьи задавал себе совершенно бессмысленный вопрос, каким образом он сам и Рубо с женой очутились здесь, что могло собрать их вместе у вагона, в котором совершено было убийство: ведь Рубо вернулись накануне из Парижа, а он только что приехал из Барантена.

– Знаю, знаю! – воскликнул он вслух, прерывая кочегара. – Я был как раз ночью у туннеля. Мне показалось, будто я что-то видел в ту минуту, когда поезд промелькнул мимо меня.

Эти слова вызвали сильное волнение, все окружили Жака. А он первый смутился, взволнованный тем, что сказал. С какой стати проговорился он теперь, несмотря на данное самому себе категорическое обещание молчать? У него было для этого столько основательных причин, а между тем роковые слова невольно сорвались с его губ, в то время как он смотрел на эту женщину. Она внезапно отдернула носовой платок и устремила на него свои полные слез глаза, ставшие теперь, казалось, еще больше. Полицейский комиссар поспешно подошел к Жаку.

– Как? Что вы видели?

Жак, с которого Северина не спускала глаз, рассказал тогда все, что видел: освещенное купе промчавшегося мимо него на всех парах поезда, мелькнувшие профили двух мужчин, одного, опрокинутого навзничь, и другого, заносившего над ним нож. Рубо, стоя возле жены, внимательно слушал показания машиниста, пристально глядя на него своими большими живыми глазами.

– Значит, вы могли бы узнать убийцу? – осведомился комиссар.

– Ну нет, не думаю...

– Что на нем было надето: пальто или куртка?

– Не могу сказать ничего определенного. Подумайте только: поезд шел со скоростью восьмидесяти километров в час...

Северина невольно обменялась взглядом с мужем, у которого хватило присутствия духа заметить:

– Действительно, для этого нужно особое зрение.

– Во всяком случае, это – весьма важное показание, – заявил полицейский комиссар. – Судебный следователь поможет вам разобраться в этом... Господа Лантье и Рубо, потрудитесь сообщить мне точно ваши имена и фамилии, чтобы вам можно было послать повестки.

Полицейское следствие было закончено. Группа любопытных постепенно рассеялась, а станционная жизнь вошла в свою обычную колею. Рубо побежал к пассажирскому поезду, отходившему в девять часов пятьдесят минут. Посадка уже началась. Уходя, он крепче обычного пожал руку машинисту, и Жак, оставшись один с Севериной, – г-жа Лебле, Пекэ и Филомена уже ушли, о чем-то перешептываясь, – счел долгом проводить молодую женщину к дебаркадеру, до лестницы, которая вела в ее квартиру. Ему нечего было ей сказать, но что-то его удерживало возле нее, словно между ними установилась какая-то таинственная связь. День разгорался все ярче и радостнее, ясное солнце победоносно поднялось из утренних туманов в прозрачную синеву неба, а морской ветер, усиливаясь с приливом, приносил с собою свежий солоноватый запах моря. Прощаясь с Севериной, Жак снова почувствовал на себе ее испуганный и молящий взгляд, который так глубоко взволновал его только что.

Раздался легкий свисток, которым Рубо подавал сигнал к отправлению. Паровоз ответил на него продолжительным свистком. Поезд тронулся, ускоряя постепенно ход, и исчез вдалеке в золотистой солнечной пыли.



## IV

В первой половине марта судебный следователь Денизе снова вызвал в свою камеру в руанском окружном суде некоторых, наиболее важных свидетелей по делу Гранморена.

Уже целых три недели это громкое дело будоражило весь Руая и разжигало страсти в Париже. Оппозиционная печать, которая вела ожесточенную войну против Империи, воспользовалась им, как орудием борьбы. Приближение общих парламентских выборов, являвшихся в тот период основным политическим вопросом, еще более обостряло эту борьбу. Заседания в Палате стали принимать чрезвычайно бурный характер. Так, например, ожесточенные дебаты вызвал вопрос о законности полномочий двух депутатов, принадлежавших к числу близких сторонников императора. Столь же бурный характер носило заседание, на котором подвергся яростным нападкам префект департамента Сены за плохое управление финансами и на котором было выставлено требование о выборах муниципального совета. Дело Гранморена возникло в самый разгар этой агитации и подлило масла в огонь. По поводу этого дела ходили самые необычайные слухи. В газетах появлялись каждое утро новые предположения, оскорбительные для правительства. С одной стороны, намекали на то, что жертва убийства, бывший председатель окружного суда Гранморен, лицо, близкое к Тюильрийскому дворцу, командор ордена Почетного легиона, миллионер, предавался самому безудержному распутству. С другой стороны, пользовались тем, что следствие пока еще ровно ничего не выяснило, и начинали уже обвинять полицию и прокурорский надзор в умышленном укрывательстве преступления. В газетах подшучивали над легендарным убийцей, которого никак не могли разыскать, словно он обладал шапкой-невидимкой. В этих нападках была значительная доля правды, и от этого они становились еще язвительнее и обиднее.

Денизе чувствовал поэтому тяжкий гнет лежавшей на нем ответственности. Он с увлечением вел следствие, тем более, что сам был честолюбив и давно уже с нетерпением ждал, когда на его долю выпадет крупное дело, которое дало бы ему случай выказать в полном блеске его проницательность и энергию. Сын крупного нормандского скотопромышленника, Денизе прослушал курс юридических наук в Кэне и довольно поздно поступил на службу в судебное ведомство, где успеху его карьеры существенно помешали, с одной стороны, крестьянское происхождение, а с другой – банкротство отца. Он был товарищем прокурора последовательно в Бернэ, Диеппе и Гавре, и только после десятилетнего пребывания в этой должности его назначили прокурором в Пон-Одемер. Оттуда его перевели товарищем прокурора в Руан, где он полтора года исполнял обязанности судебного следователя. Денизе минуло уж пятьдесят лет. Собственного состояния у него не было, и так как потребности его были огромны, а жалованье ничтожно, он находился в том зависимом положении, с каким мирятся лишь наименее талантливые из плохо оплачиваемых членов судебного ведомства: более способные с нетерпением ждут случая продать себя по возможности выгоднее. Денизе обладал проницательным умом и был вместе с тем честным человеком. Он любил свое ремесло; он упивался сознанием своего могущества, сознанием, что у себя в камере он является полным властелином и может распоряжаться свободой других людей. Только расчет сдерживал его страсть, с которой он занялся гранмореновским делом. Ему так пламенно хотелось получить орден и перевод в Париж, что, увлекшись в первый день следствия стремлением раскрыть истину, он подвигался теперь вперед лишь с крайнею осторожностью, предполагая повсюду трясину, в которых его карьера легко могла окончательно увязнуть.

Необходимо заметить, что Денизе предупредили о существовании означенных трясин. Как только началось следствие, один из приятелей Денизе посоветовал ему съездить в Париж и зайти в министерство юстиции. Там он долго беседовал со старшим секретарем министерства Ками-Ламоттом, находившимся в постоянных сношениях с Тюильрийским дворцом,

лицом чрезвычайно влиятельным, от которого зависели назначения и награды чинам судебного ведомства. Это был видный мужчина, который тоже начал свою карьеру товарищем прокурора, но благодаря связям и жене быстро пошел в гору. Теперь он был депутатом и старшим командором ордена Почетного легиона. Дело Гранморена, разумеется, не могло миновать его рук. Руанский прокурор, встревоженный таинственной драмой, в которой роль жертвы выпала на долю бывшего председателя окружного суда, признал уместным на всякий случай донести министру, а тот, в свою очередь, поручил дело старшему секретарю министерства. При этом оказалось, что Ками-Ламотт был школьным товарищем Гранморена. Правда, он был несколькими годами моложе Гранморена, но это не мешало ему состоять в самых коротких дружеских отношениях с бывшим председателем окружного суда и знать о нем всю подноготную. Он говорил поэтому с глубоким прискорбием о трагической смерти своего друга и вполне разделял пламенное желание Денизе разыскать виновного. Вместе с тем он не скрывал от судебного следователя, что в Тюильрийском дворце чрезвычайно недовольны шумом, поднятым из-за этой истории, и позволил себе указать Денизе на необходимость вести следствие с надлежащим тактом. В конце концов, судебный следователь понял, что в данном случае уместнее всего будет не спешить и не делать ни одного важного шага без предварительного одобрения начальства. Он вернулся в Руан в полной уверенности, что старший секретарь министерства ведет, в свою очередь, конфиденциальным порядком следствие по делу Гранморена. В высших правительственных сферах хотели узнать истину для того, чтобы в случае надобности искуснее ее замаскировать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.